

БОРИС РАББОТ:

Шестидесятник, которого не услышали

BORIS RABBOT:

An Unheeded Voice of the 1960s

A MEMORIAL VOLUME

Boris Rabbot:
An Unheeded Voice
of the 1960s

Articles
Interviews
Reminiscences

Compiled by:

Lynn Visson

Vasily Arkanov

Moscow, 2012

«R. Valent»

МЕМОРИАЛЬНЫЙ СБОРНИК

Борис Раббот:
Шестидесятник,
которого не слышали

Статьи
Интервью
Воспоминания

Составители:

Линн Виссон

Василий Арканов

Москва, 2012

«Р.Валент»

ББК 63.3(2)6-8
УДК 9(092)

Борис Работ: Шестидесятник, которого не услышали. Статьи. Интервью. Воспоминания. Составители Л. Виссон, В. Арканов— М.: «Р.Валент», 2012. — 368 с., илл.

ISBN 978-5-93439-377-0

Философ, социолог, политолог и публицист Борис Семенович Работ (1930–2011) всегда опережал свое время. В пятидесятые боролся с воинствующим атеизмом. В шестидесятые в составе «команды Косыгина» принимал участие в разработке комплекса экономических мер, которые должны были предотвратить медленное сползание страны к тотальному дефициту. В семидесятые настаивал на проведении в жизнь политики дедантанта. Убеденный сторонник того, что Советский Союз можно реформировать лишь изнутри путем постепенных и скоординированных реформ, Б.С. Работ был одним из тех немногих сотрудников высшего эшелона власти, которые начали готовить базу для перестройки задолго до появления М.С. Горбачева.

Несмотря на высокие посты, занимаемые им в разные годы, Б.С. Работ всегда оставался «внутренним эмигрантом». Лишь после вынужденного переезда в США в 1976 г. он получил возможность обнародовать свои идеи. Его открытое письмо Брежневу, опубликованное в газете «Нью-Йорк Таймс», утвердило за ним репутацию пронизательного критика советского строя, способного видеть и отрицательные, и положительные черты своей Родины. Человек поистине энциклопедических знаний, настоящий гуманист, он на протяжении последующих тридцати пяти лет продолжал свою научную, консультативную и преподавательскую деятельность в ведущих университетах и аналитических центрах США.

В настоящий сборник вошли наиболее значительные статьи Б.С. Работы, написанные им с 1960 по 2011 гг., отрывки из его неопубликованных работ, его интервью и воспоминания о нем друзей и коллег. В них он предстает не только ярким ученым, но и бесконечно добрым, заботливым человеком. Книга представляет интерес как для специалистов, занимающихся изучением общественной мысли в СССР, международных отношений, историй эмиграции и шестидесятничества, так и для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-93439-377-0

ББК 63.3(2)6-8
УДК 9(092)

Воспроизведение и распространение данного произведения (полностью или частично) любым способом, в том числе путем перевода в электронные файлы и открытия доступа к таким файлам через коммуникационные сети и каналы связи, без договора с правообладателями запрещается и преследуется в соответствии со ст. 146 УК РФ и Законом РФ о защите авторских и смежных прав.

© Линн Виссон, 2012
© Издательство «Р.Валент», 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ – TABLE OF CONTENTS

ЧАСТЬ I

Линн Виссон

Несколько слов о Борисе Рабботе и об этом сборнике11

Биографическая справка26

«Как внутренний эмигрант, я все время жил в закрытой стойке».

Из беседы Дмитрия Шалина с Борисом Рабботом34

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО

Палочка шамеса, или Раввин на Голгофе

(в соавторстве с М. Оппенгеймом)57

Что стоит за увольнением Подгорного. *Особое мнение*65

Детант: Борьба внутри Кремля. *Свидетельства*

бывшего инсайдера69

Открытое письмо Л.И. Брежневу81

Эволюция политической системы. *Ответы на вопросы Комитета*

Сената США по международным отношениям об отношениях между

США и СССР101

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Психология принятия решений на высшем уровне109

Политик в футляре. О вкладе Алексея Косыгина в развитие

России и политику детанта118

Портрет академика А.М. Румянцева.

Отрывки из неопубликованной книги

«Московская элита: Невидимые политики Кремля»134

Пропущенные уроки наших шестидесятников.

Несколько слов о памятной истории155

Россия извне и изнутри159

ВОСПОМИНАНИЯ

Г. Л. Смолян

Аналитик, ставший борцом171

Б.В. Орешин

«Это было в те времена, которые отказывается
понимать разум» (Х.Л. Борхес)172

П. Г. Черемушкин

Друг. Советник. Наставник177

Н. В. Ростова

Я увидела доброту182

А. Е. Войскунский, Н.И. Войскунская

Работа мудрого Раббота186

Энтони Остин

Крик, исполненный оптимизма189

Мэри Холланд

Уроки Бориса190

Эйприл Гиффорд

Он умел видеть вещи, которые другие не замечали191

Лора Вольфсон

Таким я его запомнила193

В.А. Арканов

Прощальное слово196

Список фотографий196

ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМАна вклейке

PART II

<i>Lynn Visson</i>	
Boris Rabbot: A Memorial Volume	203
Biography of Boris Semenovich Rabbot	216

PUBLISHED WORKS

One View on Why Podgorny Was Ousted: Opinion and Commentary	225
Détente: The Struggle Within the Kremlin. <i>An Ex-Insider's Revelations</i>	228
A Letter to Brezhnev	238
The Evolving Political System. From Contribution to <i>Perceptions:</i> <i>Relations between the United States and the Soviet Union</i>	256

UNPUBLISHED WORKS

The Psychology of Soviet Decision-Makers	263
A Statesman in a Case? Kosygin's Legacy for Russia and Détente	270
American Sovietology and Soviet Americanology	283
Upstairs in Moscow: The Invisible Politicians	294

REMINISCENCES

<i>Anthony Austin</i>	
A Cry of Optimism	339
<i>Mary Holland</i>	
Boris's Lessons	340
<i>April Gifford</i>	
That Rare Observer	341

<i>Laura Wolfson</i>	
This is How I Remember Him	343
<i>Lynn Visson</i>	
Farewell	345

I

Линн Виссон

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БОРИСЕ РАББОТЕ И ОБ ЭТОМ СБОРНИКЕ

Борис Раббот – подлинный гуманист и интеллигент, настоящий шестидесятник, воплощение сократовского принципа «Неизученная жизнь не стоит того, чтобы ее прожить». Универсалист, ни в чем не допускавший дилетантизма, он посвятил себя интенсивному изучению взаимосвязей между философией, этикой, моралью, политикой и социологией, был истинным ценителем и знатоком литературы, искусства и музыки. Жизнь Бориса – уникальная сага о внутренней и внешней эмиграции, приведшей его из Москвы в Нью-Йорк, из Советского Союза, где он имел доступ к закрытому миру кремлевской элиты, в страну, которую он годами изучал лишь по книгам, но в которую до эмиграции попал только раз и всего на две недели – за восемь лет до эмиграции.

Сперва Борису долго отказывали в разрешении на выезд из России, затем долго не давали разрешения на въезд в США. Шесть месяцев он оставался в Италии, пока его западные коллеги и друзья убеждали американские власти, что этот человек, ненавидевший советский тоталитаризм, многолетний «внутренний эмигрант», не преследует цели свержения американского правительства. Вот уж поистине горькая ирония!

В определенном смысле обе наши жизни – и его, и моя – это истории эмиграции. Хотя я по рождению американка, мои родители родом из России. Их увезли оттуда детьми вскоре после революции. Так, первые двадцать лет жизни я провела среди эмигрантов. А когда мне исполнилось 31, вновь связала свою судьбу с эмигрантом, и мы прожили вместе более трех десятилетий. Неудивительно, что и сама я нередко ощущала себя эмигранткой. Со дня нашей встречи в Кембридже, штат Массачусетс, в 1968 г. (Борис приехал в США с официальным визитом вместе со своим шефом – членом Центрального Комитета

А.М. Румянцевым и еще одним коллегой по работе, а я сопровождала группу в качестве переводчика) наши жизни, занятия и судьбы стали неразрывны, были посвящены друг другу и нашей общей внутренней эмиграции. Там мы создавали свой мир — мир двоих.

Мать Бориса, Ида Раббот, была родом из бедной еврейской семьи в Костроме. Ее муж, наполовину грузин, бросил ее во время беременности, и в 1931 г. она с годовалым сыном переехала в Москву. Грузинское происхождение Бориса ясно угадывалось в его смугловатой коже, и в юности при росте под метр девяносто, с черными как смоль волосами и темными усами, он легко мог сойти за студента из Тбилиси. Как человек, лишенный отца, Борис всю жизнь с особенной теплотой относился к матерям-одиночкам и детям, выросшим без отцов.

В первую военную зиму Работы были эвакуированы на студенческий Урал, где ситуация с продовольственным снабжением была настолько катастрофической, что двенадцатилетний подросток вынужден был воровать картофельные очистки, чтобы прокормить себя и свою истощенную мать. Воспоминания о том страшном голоде остались с ним на всю жизнь. В 1946 г., несмотря на то, что в эвакуации и в Москве старшие ребята неоднократно избивали его, обзывая «жидом», искренняя преданность матери-еврейке толкнула Бориса Семеновича на смелый поступок: подавая документы на паспорт, в графе «национальность» он попросил написать «еврей», а не «русский», хотя по отцу имел на это право. Несмотря на отчаянные протесты матери и ее девятерых братьев и сестер, прекрасно понимавших, на какие сложности он обрекает себя этим решением, Борис настоял на своем, как не поддавался и на уговоры родни посвятить себя математике, инженерной науке или медицине — областям, наиболее далеким от опасного мира сталинской политики. (Его незаурядные способности шахматиста — в 12 лет он уже имел высокий разряд — убедили семью, что у мальчика есть безусловный математический талант.)

Хотя на вступительных экзаменах в МГУ Борис показал блестящие результаты, развязанная в 1947 г. антисемитская кампания и прямая команда из ЦК не брать еврейских ребят на гуманитарные факультеты, оставили его за порогом университета. Лишь благодаря личному вмешательству ректора Ивана

Петровского, Бориса зачислили в МГУ. Еврейское происхождение не раз оказывалось препятствием на протяжении всей его научной и профессиональной карьеры — он столкнулся с этой проблемой при поступлении в аспирантуру, при устройстве на работу и уже будучи профессиональным социологом. В 1971 г. из-за обвинений в «буржуазном либерализме, сионизме и космополитизме» он не был допущен к защите докторской диссертации об эксперименте в социальном исследовании. Среди многочисленных претензий, которые ему предъявляли, одна была вполне справедливой: он действительно помогал еврейским ученым устраиваться на работу в различные институты.

С детства Борис ощущал, что семья не любила и не доверяла Сталину, и сам с ранних лет начал испытывать отвращение к советской системе. В 1949 г. на допросе в КГБ пьяный следователь добивался от Бориса признания в том, что его друзья, многие из которых были детьми расстрелянных троцкистов и бухаринцев, вынашивают антисоветские настроения. Отказавшись давать ложные показания против друзей, Борис был жестоко избит, и несколько переломанных в тот день позвонков стали источником постоянных болей в спине и неизживаемой ненависти к КГБ и породившей его системе. Развенчание культа личности Сталина на XX съезде и советское вторжение в Венгрию лишь укрепили это отвращение. В 1957 г., как отступник от марксизма, не вступивший в ряды КПСС, он был уволен из МГУ, где, еще будучи аспирантом, начал успешную преподавательскую карьеру. В 1959 г. под угрозой навсегда остаться безработным он вынужденно вступил в партию.

От безработицы его спас Константин Омельченко. Всесторонне образованный и весьма циничный председатель Всесоюзного общества «Знание» и редактор журнала «В помощь лектору» нанял Бориса писать за него диссертацию о международном опыте КПСС. Омельченко стал для Бориса настоящим политическим ментором, введя его в византийские лабиринты политики. От Омельченко Борис перешел в журнал «Наука и религия», где с 1959 по 1965 гг. был заведующим отделом и одним из авторов.

Созданный под видом органа, пропагандирующего идеи атеизма, журнал «Наука и религия» вскоре стал прибежищем для многих журналистов, занимавшихся религиозной тематикой и тайно симпатизировавших верующим различных конфессий и сект. В эти годы Борис погрузился в серьезное изучение истории иудаизма и христианства, познакомился с деятельностью многих сект, действовавших на территории СССР, написал множество статей на религиозные темы как для журнала, так и для справочных изданий.

В 1965 г. Борис перестал заниматься изучением религии в связи назначением на пост ученого секретаря Президиума Академии наук СССР по общественным наукам и советника вице-президента Академии, члена ЦК КПСС, академика Алексея Матвеевича Румянцева. Верный последователь марксистского учения и старый большевик, Румянцев тем не менее придерживался либеральных воззрений на многие вопросы политики и экономики. Он верил в возможность реформирования советской системы изнутри, и в 1968 г. по его инициативе был создан Институт конкретных социальных исследований (ИКСИ), собравший в себе лучшие либеральные силы страны. С 1969 по 1972 гг. Борис Семенович возглавлял там сектор экспериментальных исследований. После разгрома ИКСИ реакционерами в 1971 г., Румянцев попал в немилость, и Борис вынужден был перейти в Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова.

С октября 1964 по апрель 1965 гг. — время, отмеченное приходом к власти в СССР Брежнева и отставкой в США Никсона после Уотергейта — самый важный период знакомства Бориса Семеновича с советской политической и академической элитой. Как ученый секретарь Академии и советник Румянцева (в ту пору главного советника Брежнева и Политбюро), Борис Семенович занимался советско-американскими отношениями, был одним из авторов первых документов по детанту, представленных в Политбюро, и консультантом по целому ряду вопросов внешней и внутренней политики. Он принимал активное участие в разработке новых программ для таких институтов Академии, как Институт США и Канады, Институт Дальнего Востока и других. Он также постоянно писал для Румянцева деловые записки, речи, обзоры, аналитические статьи и книги. Параллельно с работой над докладом Косыгина XXIV съезду партии, Борис писал книгу

Румянцева «Проблемы современной науки об обществе». Ему приходилось совмещать должностные обязанности политического эксперта, ученого, администратора и журналиста и одновременно угождать шефу, поставляя новые и новые статьи, работая сутками напролет — непомерная нагрузка, в конце концов стоившая Борису здоровья и сократившая его жизнь.

Однако наиболее важную роль Румянцев сыграл как один из авторов экономической реформы 1965 г. — серии мер, предложенных харьковским экономистом Евсеем Либерманом, направленных на постепенный перевод централизованной советской экономики на рыночные рельсы. Это послужило главным толчком к косыгинским реформам. Книга Бориса об эксперименте в социальном исследовании придавала особое значение ранним попыткам реформ, проводившимся, в частности, на Щекинском заводе, где рабочим были предоставлены экономические стимулы, такие как свобода в распределении заработанных прибылей и самоуправление.

* * *

Я никогда не забуду нашу первую встречу с Борисом. Хотя в 1968 г. в Кембридже об этом не было сказано ни слова, было ясно, что искра вспыхнула в нас обоих с первой минуты. Пройдет восемь лет, прежде чем он приедет в Нью-Йорк. После этого мы будем неразлучны до конца его жизни. Однако в декабре 1968 г. трудно было вообразить что-либо более невероятное, чем союз находящегося в командировке тридцативосьмилетнего партийного деятеля, помощника члена ЦК, и двадцатитрехлетней американской аспирантки кафедры славянских языков и литературы Гарвардского университета. Не говоря уже о личных обстоятельствах каждого. Если бы кто-то задумал написать о нашей истории правдивый роман, любой здравомыслящий редактор счел бы его плодом буйной фантазии и немедленно отправил в мусорную корзину. И все же, несмотря ни на что, Борис сумел покинуть СССР, мы нашли способы разрешить свои личные и семейные обстоятельства и прожили 35 невообразимо счастливых лет в исполненном любви творческом, эмоциональном и интеллектуальном союзе, внезапно оборванном скоропостижной смертью Бориса в 2011 г. в возрасте 80 лет.

Уже во время той поездки в 1968 г. мне было ясно, что передо мной не обычный советский чиновник. Борис попросил сводить его в синагогу и показать еврейскую воскресную школу; при виде детей, свободно изучающих иврит и еврейскую историю, он не смог сдержать слез. Втайне от своих спутников он пришел на ужин в дом к моим родителям-эмигрантам — и это во времена, когда подобные контакты с «изменниками Родины» были категорически запрещены и чреватые самыми серьезными неприятностями для советских граждан, находившихся за границей в командировках. Открытый разговор по-русски о российской и европейской истории, искусстве и литературе произвел на Бориса сильнейшее впечатление. В тот вечер он встретился с моим отцом — искусствоведом и директором нью-йоркской художественной галереи «Уилденштейн». Отец был приятно удивлен обширными познаниями гостя в области культуры и его умеренно либеральными взглядами. Больше они не виделись. По странной прихоти судьбы, отец скончался в тот самый день, когда Борис навсегда прилетел в Штаты в 1976 г.

На протяжении следующих восьми лет после его отъезда из США в 1968 г. мы виделись только во время моих приездов в Москву. За эти годы раздражение Бориса от бессилия что-либо изменить в существующей советской системе постепенно росло и в конце концов достигло критической точки. Не имея возможности свободно высказывать свои идеи в печати, он был вынужден неоднократно и безвозмездно писать статьи и книги за других. Сначала за Константина Омельченко, затем за Алексея Румянцева и под конец, уже в период его работы в Институте истории естествознания и техники, за директора Института Семена Микулинского. Последней каплей стала судьба его книги «Проблемы эксперимента в социальном исследовании». Как написал впоследствии Борис Семенович:

«Мое окончательное решение о необходимости эмигрировать созревало долго и мучительно. Одной из важных вех стала судьба моей книги “Проблемы эксперимента в социальном исследовании” (Москва, 1970), которая в процессе “чистки” либерального академического Института конкретных социальных исследований, где она была написана, подверглась критике партийных чиновников как “плод буржуазной идеологии”. Их возмутило, что я называл западных социологов

“коллегами”, а не “буржуазными пропагандистами”. Книгу сперва запретили, а затем все оставшиеся экземпляры сожгли во дворе социологического института. Мне надоело писать книги, зная, что они никогда не будут напечатаны, надоело писать книги, статьи и речи, под которыми ставили свои подписи другие люди, надоела самоцензура в работе — постоянный внутренний контроль, инстинктивно не позволяющий написать того, о чем заведомо знаешь, что это не будет опубликовано или навлечет на автора неприятности. Мне надоел ярлык сиониста и ревизиониста и сопутствующие этому последствия растущего антисемитизма в СССР».

Когда после почти двух лет, проведенных в отказе, он приехал в США, Борис находился в состоянии сильнейшего стресса. Он неважно владел английским. Его здоровье было подорвано целым рядом медицинских проблем и постоянным курением, которое в итоге его убило. Попав, наконец, в Америку, он обнаружил, что находится в странном положении по отношению к научным и правительственным кругам, которые не могли разобраться в том, как отнестись к человеку, явно не подпадавшему ни под одну известную им категорию. Он не был ни перебежчиком (ибо покинул СССР легально), ни диссидентом со множеством претензий к стране, ни ортодоксальным марксистом или преданным коммунистом. В годы реформ Либермана и Косыгина профессора американских университетов и вашингтонские советологи и чиновники еще не знали о существовании российских либералов догорбачевской поры — людей, не оставлявших надежды реформировать социалистическую систему изнутри. Они никогда не общались с такими учеными. Кто-то считал Бориса сторонником западных капиталистических демократий; кто-то даже предполагал, что он послан КГБ. Только когда к власти в СССР пришли Горбачев, Яковлев и их помощники (такие как Анатолий Черняев, с которым, как и со многими другими советниками из окружения Горбачева, Борис Семенович был хорошо знаком), в Америке поняли, что он отнюдь не «уникальное явление», а один из представителей либеральной группы, которая в интересах самосохранения и ради сохранения своей страны намеренно держалась в тени.

Со своей стороны, Борис обнаружил, что высокопоставленные американцы в правительстве и академическом мире, которые были крайне заинтересованы в беседе с ним, не подозревали о существовании невероятно широкого спектра мнений среди кремлевских политиков, не знали о конфликтах между советскими партийными и государственными органами, различными министерствами и разведслужбами и не имели представления о иерархической системе правительственного аппарата и партийных привилегиях. Многие американские профессора и советологи по-прежнему находились в плену стереотипов холодной войны, полагая, что советское руководство представляет собой монолит. Но были и такие, кто понимал. Рекомендуя Бориса своим американским коллегам, профессор Аллен Кассоф, бывший директор Американского совета по международным исследованиям и обменов (IREX), написал о нем следующее:

«Он принадлежал к небольшой группе чиновников среднего и высшего звена Академии, которые пытались проводить идеи либерализации, в частности, способствуя более тесным контактам с Соединенными Штатами. Он делал это вопреки всему, что свидетельствует не только о твердости его убеждений, но и о смелости. В итоге это, конечно, не принесло результата, и именно постигшее Бориса разочарование привело к его отчуждению от советской жизни и желанию покинуть страну... В своих исследованиях и письменных работах (возможно, в силу недюжинного ума и впечатляющей привычки к логическому мышлению) он полностью свободен от часто искаженных или грандиозно-реформистских теорий, свойственных многим эмигрантам. Работ представляет мне исключительно порядочным человеком. Безусловно, я и мои коллеги в академическом мире будем рады видеть его среди нас».

Вскоре Борис действительно влился в академическое общество, вернувшись к занятию, которое называл своей «первой любовью» — преподаванию. Опыт его преподавательской деятельности в МГУ пришелся как нельзя более кстати на курсах, которые он вел в Миддлбери-колледже и Колумбийском университете, на лекциях перед студентами в самых разных учебных заведениях. Он также нашел и другую сферу приложения своих интересов. Его обширные знания в области экономики и талант шахматиста позволили ему досконально освоить

тонкости американского рынка и успешно вести как наши финансовые дела, так и финансовые дела моей матери. Он считал, что для успеха на бирже необходимо знание экономики, политики, тактики и стратегии, умение предугадывать возможные ходы непредсказуемого «противника», чтобы соответственно «отвечать» на скачки и падения рынка. Разочаровавшийся коммунист превратился в заправского капиталиста.

Естественно, он хотел писать, писать и писать. В его замыслах было две книги (одна — об эксперименте в социальном исследовании, вторая — о жизни советской политической элиты), но закончить их Борису помешали другие дела: колоссальный интерес к нему в Вашингтоне и научном мире, постоянный спрос на его лекции, статьи, научные работы и консультации.

Ему было невероятно трудно научиться писать для американской аудитории, избавиться от внутреннего цензора, продолжавшего бдительно следить за всем, что выходило из-под его пера. Теперь, обретя свободу выражать свои мысли и не испытывая гнета служебных обязанностей, давившего ему на плечи в СССР, Борис писал очень медленно. Он относился к словам вообще (и к написанным словам в частности) с безграничной ответственностью. Даже письмо другу длиной не больше страницы могло перерабатываться трижды на протяжении двух дней, пока он не убеждался, что выразил именно то, что хотел сказать. Если написанное предназначалось для публикации, то дело еще более усложнялось необходимостью перевода. Поскольку каждому слову, каждому предложению, каждому абзацу полагалось быть идеальными, Борису было невероятно сложно укладываться в отведенные сроки. И все же он публиковал статьи в «Нью-Йорк Таймс Мэгэзин», «Вашингтон Пост» и «Крисчен Сайнс Монитор», писал отчеты и аналитические материалы по заказу фонда Форда, фонда Рокфеллера и корпорации «Рэнд», выступал с лекциями в Госдепартаменте, на «Голосе Америки», в Гарвардском, Колумбийском, Джорджтаунском и Амхерстском университетах, в фонде «Двадцатый век» и множестве других организаций.

В то время компьютеры еще не стали неотъемлемой частью жизни, и был только один способ совладать с таким непомерным объемом работы: отказаться от письменного жанра в угоду устному. Он начал надиктовывать свои сочинения на магнито-

фон, а затем либо я, либо моя мать (хотя ей в ту пору было уже далеко за семьдесят) переводили прямо с кассет. Затем я эти переводы редактировала. Пишущую машинку Борис так никогда и не освоил и диктовал по записям, которые делал карандашом мелким убористым почерком, десятки раз стирая и внося исправления, что нередко превращало текст в неразборчивые каракули. Это чрезвычайно тормозило процесс, тем более, что во время диктовки вносились новые изменения. Затем мы вместе редактировали английские тексты, и он усеивал листы новыми вставками, исправлениями и вычеркиваниями. Парадокс же в том, что в итоге мы часто оставались без окончательной версии русского текста — вот почему часть статей в этом сборнике приводится в обратном переводе с английского.

На протяжении всех этих лет мы всегда работали как соавторы: он диктовал, я печатала и переводила (перейдя со временем на компьютер с кириллицей и латинским шрифтом, что значительно упростило нашу задачу), и затем мы вместе редактировали. Лишь в последние десять лет мы, до определенной степени, поменялись ролями. С началом выхода моих книг в России он превратился в требовательного редактора, корректора, а временами и переводчика — в тех случаях, когда я писала по-английски или когда мой «неуклюжий» письменный русский нуждался в правке, а точнее, в переписывании заново. Я бы никогда не написала своих книг без Бориса. К каждому написанному мной слову он относился так же пристрастно, как к своему; мне кажется, ему доставляло особую «искупительную» радость видеть мои книги по переводу изданными в стране, где каждую свою публикацию ему приходилось пробивать с боем. Мою книгу «Чужие и близкие в русско-американских браках» также следует назвать «нашей», ибо он в процессе подготовки книги расспрашивал русскую «половину» в смешанном браке, а я — американскую. Затем мы часами объясняли друг другу причины того или иного поступка супругов, составляя общую картину.

Хотя с годами его английский стал значительно лучше, дома мы продолжали общаться только по-русски, и ему всегда было намного комфортнее разговаривать с теми, кто говорил по-русски. Он так трепетно относился к значению слов, что даже после многих лет жизни в США просил меня переводить для

наших англоговорящих гостей, если хоть чуть-чуть сомневался, что они понимают все лингвистические нюансы. Он хотел быть уверенным, что доносит до слушателя точный смысл.

Статей он уже почти не писал. После более чем тридцати лет жизни за рубежом Борис не разрешал себе давать публичные оценки происходящему в России, считая, что слишком долго находится вдали от родины. К тому же ему казалось, что взгляды стареющего либерала доперестроечных времен больше никого не интересуют — ни там, ни тут. Он так ни разу и не навещил страну, из которой уехал. Отчасти из-за неутраченной обиды на то, как с ним там обошлись, но еще и потому, что не хотел ворошить прошлое, боялся ощутить себя «незванным гостем» в жизни своих бывших близких друзей. Тем не менее до последнего дня он следил за происходящим в России по телевидению и газетам и всегда с неизменным интересом расспрашивал меня о моих поездках в Москву. В душе он так навсегда и остался русским. Даже разочаровавшись в результатах перестройки и остро сознавая недостатки и просчеты современной политической системы России, Борис не переставал любить родину и мучительно переживать за ее судьбу. Он крайне критично оценивал многие черты российского национального характера и высоко ценил такие «американские» качества, как честность и прямоту в отношениях. Был бесконечно горд своими еврейскими корнями и, когда называл себя «русским», часто имел в виду «русский еврей». Мы даже шутили, что по понедельникам, средам и пятницам он русский, по вторникам, четвергам и субботам — еврей, а по воскресеньям — космополит. Только американцем он никогда не был.

Найти ему достойных русских собеседников было очень просто. Будь он озлобленным диссидентом, или сапожником из Одессы, или технарем, проблемы бы не возникло. Но из среды шестидесятников-гуманитариев его поколения лишь немногие перебрались в США, а в Нью-Йорке они были и вовсе наперечет. За годы встреч с новыми эмигрантами и смешанными парами нам в конце концов удалось сформировать небольшой круг близких друзей, с которыми ему было комфортно. В этом узком кругу в сентябре 2010 г. мы и отпраздновали восьмидесятый — юбилейный — день рождения Бориса. Увы, ему было суждено стать последним.

В последние два года он вновь подумывал о том, чтобы начать писать. Он также хотел перевести свои американские статьи и опубликовать их в российской прессе, чтобы рассказать о своем участии в российском либеральном движении, тем более что развитие событий подтвердило правильность его оценок и выводов, сделанных в «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Я, конечно, всячески поддерживала его в этих начинаниях, хотя в глубине души знала, что они ничем не закончатся. Мы вновь обратились к разговорному жанру. В 2008 г. он дал прекрасное интервью нашему другу, социологу-эмигранту Дмитрию Шалину, в котором живо и красочно рассказал о своей юности и социологической работе в России. Он согласился и на длинное видео-интервью с со-составителем этого сборника Василием Аркановым, но из-за проблем со здоровьем Бориса замысел так и не был осуществлен.

Борис был интеллектуалом в высшем смысле этого слова — уникальным и самодостаточным. Сколько раз на мой вопрос «Что ты делаешь?», я слышала в ответ: «Думаю». Раздумья могли привести к обсуждению самых разных тем: о дворе Людовика XIV, об учении католической церкви о женщинах, об имени героя и финале чеховского рассказа. Список его любимых писателей огромен: от Пастернака и Чехова до Слуцкого, Шекспира, Сервантеса, Томаса Манна, Макса Фриша и Бальзака. Он был приверженцем строгих эстетических норм — резкое неприятие смешанных жанров оставляло его равнодушным к большинству форм современного искусства.

Долгие и критические раздумья, четкая аргументация, высокая нравственность и моральные суждения были неотъемлемой частью его натуры. Он последовательно подчеркивал необходимость сосредотачиваться на важном, а не второстепенном, не тратить время на борьбу с ветряными мельницами. Когда я жаловалась на смехотворно громоздкий бюрократический аппарат ООН, где я двадцать четыре года проработала синхронистом, он обычно отмахивался со словами: «Как в Советском Союзе — глупо тратить время на борьбу с гигантской и безнадежной системой». Но при всей глубине и серьезности своих взглядов на жизнь, он обладал ярким чувством юмора, всегда чувствовал абсурд и комичность ситуации, мог хохотать, как ребенок, если ему что-то нравилось или кто-то рассказывал смешной анекдот.

Задолго до 11 сентября 2001 г. он предвидел грядущее столкновение двух культур — иудео-христианской традиции и ислама — и считал, что это столкновение станет самой большой угрозой для западной цивилизации. И он говорил об этом открыто, не стесняясь выражать свое мнение как по этому, так и по другим вопросам, не заботясь о том, насколько «политкорректно» прозвучат его высказывания для американского уха. Он не терпел подхода «Я прав — ты неправ», всегда с интересом выслушивал разные точки зрения друзей и знакомых, даже когда бывал с ними не согласен. Но абсолютно не принимал тотальный релятивизм, удобную формулу «Я прав, ты прав, все мы правы». Фундаментальные ценности и нормы морального и этического поведения были для него святы. Вследствие этого Борис был предельно внимателен в общении с другими. Неважно, был ли он старше или моложе своего собеседника, — его замечания всегда были уважительны и не унижали достоинства. В ответ Борис требовал к себе такого же отношения. Тот, кто задевал чувство его собственного достоинства, попадали в немилость, покуда не приносили искренних извинений, после чего инцидент считался раз и навсегда исчерпанным. В отличие от многих соотечественников, Борис не был злопамятен.

Несмотря на свои высокие интеллектуальные требования, знакомясь с кем-то лично или заочно, Борис в первую очередь интересовался не умственными способностями человека, а был ли этот человек «добрым» или «злым». Слова «добрый», *good*, *kind* были, пожалуй, его любимыми, как в русском, так и в английском языке. Он мог простить глупость, но не злость. После злости самым большим грехом в его иерархии считалась скупость. Он готов был отдать свитер, ремень, новую авторучку, недочитанную книгу, — буквально, все, если видел, что кому-то это может доставить радость.

Он старался помогать людям при малейшей возможности. В России активно использовал свои связи в сфере науки и политики, добиваясь того, чтобы дети либеральных и прогрессивных академиков и ученых, у которых не было блата, поступали в университеты. Никогда не забывая о своем прошлом, он особенно старался помочь евреям, у которых возникали сложности при зачислении на институтские кафедры или при устройстве на работу. Он делал это до самого конца. Даже в своем прощаль-

ном разговоре с Румянцевым перед отъездом в Америку, где его самого ждала неизвестность, он предложил Румянцеву помогать его психически больной дочери, если она с мужем решится на эмиграцию. В США он, чем мог, старался помогать другим эмигрантам и засыпал меня вопросами о том, как нам найти американцев, которые могли бы помочь им с образованием и работой. Он всегда был готов дать совет молодым людям по избранной ими специальности, часами выслушивал их рассказы о личных и любовных неурядицах. Наперсник и непререкаемый авторитет для многих молодых людей, он всегда был настроен доброжелательно и давал бескомпромиссно честные рекомендации, даже если они шли вразрез с тем, что пришедший хотел услышать.

Он ненавидел фанатизм и догматизм в любых проявлениях — как в политике, так и религиозный. Борис причислял себя к еврейству, но на самом деле был полумистиком-полуагностиком. Он часто говорил о пастернаковском «политическом мистицизме» — вере, о которой написано в «Докторе Живаго». Суть ее сводится к тому, что политическая жизнь и исторические процессы формируются мистическими, таинственными, почти толстовскими силами, что они есть часть духовного исторического процесса, на который люди не в силах повлиять. Именно в этом смысле, не углубляясь в дебри богословия, он часто повторял: «Все мы под Богом ходим». Ближе к концу жизни, когда он начал постепенно терять силы, это ощущение фатализма стало все более явственным в отношении к его собственной смертности.

Хотя физически Бориса сейчас рядом нет, эта книга является нашей — нашей последней совместной работой. В ней собраны его наиболее важные опубликованные и неопубликованные статьи (часть из них написана в России, часть — в Америке), интервью, записи для интервью, к которому он готовился, лекции, научные изыскания по заказу различных организаций, воспоминания его русских и американских друзей и фотографии. Книга состоит из двух разделов — русского и английского. Большинство статей представлены в обоих разделах, но некоторые намеренно оставлены без перевода. Как я, так и Василий Арканов, со-составитель данного сборника и наш с Борисом давний друг, сочли, что эти работы представляют

интерес только для носителей того языка, на котором были написаны. Без Василия эта книга вряд ли могла бы появиться в ее нынешнем виде, и я бесконечно признательна ему за его неоценимый вклад. (Мне страшно, когда я думаю, с какой тщательностью Борис вчитывался бы в каждое слово как в русском, так и в английском разделах.)

Часть вошедших сюда фотографий была сделана в разные годы нашими друзьями и коллегами. Надеюсь, они простят меня за невозможность упомянуть здесь всех. Я глубоко благодарна профессору Колумбийского университета Фрэнку Миллеру за большую техническую помощь в подготовке значительной части материалов.

Хочется верить, что эта книга не только (и даже не столько) «памятник» этому выдающемуся, бесконечно доброму и гуманному человеку, сколько живое свидетельство его жизни и творчества, его идей, по-прежнему актуальных сегодня как в России, так и в США.

Как ни тщетна надежда, я продолжаю надеяться, что мой самый близкий друг, мой муж, моя любовь, мой самый требовательный критик одобрил бы этот сборник.

*Нью-Йорк
Август 2011*

Биографическая справка

БОРИС СЕМЕНОВИЧ РАББОТ **18 сентября 1930 — 3 февраля 2011**

Родился в Костроме. Через год после рождения вместе с матерью Идой Раббот переехал в Москву. Эмигрировал в США в 1976.

ОБРАЗОВАНИЕ:

1948–1953

Студент Философского факультета МГУ

1954–1956

Аспирант кафедры Истории западноевропейской философии и социологии МГУ.

1970

Защитил кандидатскую диссертацию в Институте конкретных социальных исследований по теме «Эпистемология Лейбница».

1970–1971

Завершил работу над докторской диссертацией по теме «Теория эксперимента в социальном исследовании и управлении». Не допущен к защите по политическим мотивам.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ, ЖУРНАЛИСТСКАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДО ЭМИГРАЦИИ:

1954–1956

Преподаватель истории западной философии и социологии в МГУ.

1958–1959

Научный редактор журнала «В помощь лектору» Всесоюзного общества «Знание».

1959–1965

Завотделом, автор и корреспондент журнала «Наука и религия».

1965–1967

Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР.

1967–1971

Ученый секретарь президиума Академии наук СССР и помощник вице-президента Академии по общественным наукам.

1969–1972

Заведующий Сектором экспериментальных исследований Института конкретных социальных исследований Академии наук СССР.

1971

Назначен старшим научным сотрудником Академии наук СССР.

1972–1974

Старший научный сотрудник Отдела социологии и системного анализа Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова.

РАБОТА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В РОССИИ:

1958–1959

Помощник первого заместителя председателя правления Всесоюзного общества «Знание» Константина Омельченко.

1959–1965

В период работы в журнале «Наука и религия»:

- участвовал в ряде закрытых экспертных групп и комиссий ЦК КПСС по выработке политики партии в отношении религии и церкви;
- координировал сотрудничество журнала с Государственным комитетом СССР по религии, Советом Министров и другими правительственными учреждениями, ведавшими вопросами религиозной политики;
- принимал участие во встречах представителей партии и правительства с религиозными лидерами всех конфессий.

1965–1974

Помощник члена ЦК КПСС и вице-президента Академии наук СССР по социальным наукам А.М. Румянцева. В обязанности входило:

По внутренней политике:

- подготовка предложений и проектов резолюций для секретариата ЦК КПСС, Политбюро и Совета Министров по социальным и экономическим вопросам (в частности предложений по претворению в жизнь экономической реформы 1965 г.);
- организация встреч с руководителями различных отраслей промышленности и сельского хозяйства по вопросам управления, финансирования, ценовой политики и др.;
- подготовка выступлений Генерального секретаря, Председателя Совета Министров и других членов Политбюро на XXIV съезде КПСС и проектов постановлений съезда.

По научной работе:

- разработка и внедрение новых программ для разных институтов АН;
- учреждение Института конкретных социальных исследований и Института научной информации по общественным наукам.

По внешней политике:

- советско-американские отношения;
 - разработка первых документов Политбюро по детанту;
 - организация научных обменов с американскими университетами и общественными организациями;
 - поездка в США в 1968 г. с А.М. Румянцевым;
 - учреждение Института США и Канады;
- отношения между СССР и коммунистическими партиями Европы;
 - разработка предложений для Международного отдела ЦК КПСС;
 - организация международных конференций с участием иностранных коммунистов в СССР и за рубежом;
 - учреждение Института международного рабочего движения;
- советская политика в отношении Азии, в частности,

- в отношении Китая и Японии;
 - участие в деятельности рабочих групп ЦК КПСС и в заседаниях по данным вопросам;
- подготовка докладов и проектов резолюций для Политбюро;
 - учреждение Института Дальнего Востока;
- разработка программ для Института народов Азии.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАКАНУНЕ И ПОСЛЕ ЭМИГРАЦИИ:

1968

В рамках официального визита в США с А.М. Румянцевым и Г.В. Осиповым участвовал в установлении советско-американских контактов в сфере общественных наук, организовывал конференции и книжные обмены.

1969

Член Американской социологической ассоциации.

Лето 1976

Читал курс лекций о советской внешней политике в летней школе *Centro Studi Russia Cristiana* в Бергамо (Италия).

Ноябрь 1976

Лекция «Роль экспертов в выработке советских политических решений» на отделении стратегических и международных исследований университета Джорджтаун.

Декабрь 1976

Лекция «О влиянии социальных и культурных обменов на научную и гражданскую жизнь в СССР» в Американском совете по международным исследованиям и обменов (IREX).

Январь – апрель 1977

Консультант фонда Форда.

Январь 1977

Консультации и посещение Совета управления международным вещанием и Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Вашингтон).

Февраль 1977

Лекция «Советская реакция на стратегию Киссинджера и поправку Джексона» в Совете по международным отношениям (Нью-Йорк). Также выступал с этой лекцией в Колумбийском университете (март); в Гудзонском институте в Кротоне, штат Нью-Джерси (апрель); в Институте общественной политики в Вашингтоне (март).

Апрель 1977

Лекция «О влиянии научных и культурных обменов на гражданское самосознание советских людей» в рабочей группе по советско-американским обменам фонда «Двадцатый век».

Апрель 1977

Лекция «Антикитайские рычаги советского детанта» в Институте Восточной Азии Колумбийского университета; лекция на эту же тему была прочитана в ноябре в Русском исследовательском центре Гарвардского университета.

Апрель 1977

Лекция «Как понимать СССР» на Экономическом факультете колледжа Хаверфорд.

Июнь 1977

Лекция «Советская политика в отношении США и Канады» в Канадском Департаменте внешних сношений в Оттаве.

Июнь 1977

«Как читать советскую прессу между строк» – летний практикум для студентов Славянской кафедры Колумбийского университета.

Ноябрь 1977

Доклад «Реакция советских слушателей на зарубежные радиостанции» в Агенстве информации США в Вашингтоне.

Ноябрь 1977

Доклад «Социально-психологические портреты советских руководителей: взгляд изнутри» в Отделе внешних исследований Госдепартамента США в Вашингтоне.

Декабрь 1977

Лекция «Как формируется советская внешняя политика: психологические портреты советских лидеров, ответственных за принятие решений» в колледже Амхерст.

Февраль 1977 – ноябрь 1978

Работа над книгой «Эксперимент в социальном исследовании» в Русском институте Колумбийского университета по гранту фонда Рокфеллера.

Май 1978

Участие в дискуссии, посвященной празднованию Первого мая в СССР (Программа «Час новостей Макнила и Лерера», Общественное телевидение).

Май 1978

Лекция «Основные направления в советском руководстве» в Национальном институте восточных языков и культур в Париже.

Июнь 1978

Лекция «Различия между членами Политбюро в советской внешней политике» в Центре изучения внешней политики в Париже.

Лето 1978

Преподаватель летней русской школы в Миддлбери-колледже. Преподавал высший курс изучения русского языка для студентов и аспирантов; лекции «Советский бюрократический язык» и «Америка глазами советских лидеров».

1976–1978

Консультант корпорации «Рэнд», Фонда изучения СССР, Центра изучения славянских и восточно-европейских языков Калифорнийского университета в Беркли, Фонда Маршалла, Шведского посольства в Вашингтоне, Центра изучения России и Восточной Европы в Торонто, Федерации американских ученых, Института Кеннана, Центра Уилсона в Вашингтоне. Получал гранты от Фонда Рокфеллера, Фонда Форда, Американского совета научных обществ (ACLS), Русского исследовательского центра Гарвардского университета.

1986–1991

Лектор и преподаватель кафедры славянских языков Колумбийского университета. Курсы лекций «Как читать советскую прессу» и «Высший курс русского языка».

1998

Консультант межкультурной программы компании «Пруденшиал».

ПУБЛИКАЦИИ:

Книги

Проблемы эксперимента в социальном исследовании. *Московский информационный бюллетень Института конкретных социальных исследований Академии наук СССР, № 48, 1970.*

Пятьдесят слов о вере и неверии. (В соавторстве с И. Коганом). *Москва, Знание, 1965.*

Статьи

«Экспериментальные методы в социальном познании». *Вопросы философии, № 3, 1970.*

«Гносеологические проблемы социального эксперимента». *Социологические исследования: теория и методы, № 5, Наука, 1970.*

«Что делать». *В помощь лектору, № 3, 1958.*

Более 30 статей в журнале «Наука и религия», включая:

«Атеизм», «Бог», «Библия», «Дени Дидро» (под псевдонимом Б. Семенов), «Николай Чернышевский» (под псевдонимом Б. Аненков), № 1, 1959;

«Ад», № 2, 1959;

«Богословие», «Вера», № 3, 1959;

«Душа», № 4, 1959;

«Грех», № 1, 1960;

«Гуманизм», № 2, 1960;

«Деизм», № 3, 1960;

«Духовенство», № 5, 1960;

«Догма», № 6, 1960;

«Дьявол», № 7, 1960;

«Мораль и повседневность», № 8, 1960;

«Палочка шамеса, или Раввин на Голгофе» (в соавторстве с М. Оппенгеймером)*¹, № 9, 1960;

«История ситцевого царства: фабрика тканей и мертвецов» (в соавторстве с А. Алексеевым и опубликована под псевдонимом Б. Аненков, № 1, 1961;

«Парижская коммуна и церковь», № 3, 1961;

«Идолы», № 4, 1961;

¹ Статьи, помеченные звездочкой, воспроизводятся в данном сборнике.

- «Канонические книги», № 6, 1961;
«Школа не может быть нейтральной», «Катехизм», № 9, 1961;
«Анимизм», № 2, 1962;
«Аскетизм», № 7, 1962;
«Монахи», № 8, 1962;
«Надежда», «Спор не только о памятниках» (Статья была написана в соавторстве с О. Ильиным и опубликована под псевдонимом Б. Семенов), № 12, 1962;
«Невежество», № 2, 1963;
«Свобода совести», № 8, 1963;
«Суеверие», № 10, 1963;
«Утешение», № 4, 1964;
«Фанатизм», № 5, 1964

Статьи в энциклопедиях:

«Идея абсолюта», «Ойген фон Бём-Баверк», «Бог», «Л. Brentano», «Панкратиус Вольф», «Эдуард Ганс», «Леопольд Хеннинг», «Деизм». *Философская энциклопедия, Москва, 1960, том 1;*

«Лейбниц», «Теодор Лау», «Монада». *Философская энциклопедия, Москва, 1964, том 3;*

«Вольнодумство». *Философская энциклопедия, Москва, 1967, том 4;*

«Лейбниц». *Малая Советская энциклопедия, 2-е издание, Москва, 1965, том 1;*

«Религиозное вольнодумство». *Советская историческая энциклопедия, Москва, 1969, том 12.*

Статьи на английском языке:

«Что стоит за увольнением Подгорного: особое мнение»*. *Крисчен Сайенс Монитор, 13 июня 1977, с. 27;*

«Детант: Борьба внутри Кремля»*. *Вашингтон Пост, 7 июля 1977, с. B1 и B5* (Перепечатано в газете «Интернешнл Геральд Трибьюн» 11 июля 1977 с. 1–2 и 12 июля, с. 2);

«Письмо Брежневу»*. *Нью-Йорк Таймс Мэгэзин, 6 ноября 1977;*

«Эволюция политической системы: ответы на вопросы Комитета Сената США по международным отношениям об отношениях между США и СССР»*. *Типография правительства США, 1979, с. 121–124.*

КАК ВНУТРЕННИЙ ЭМИГРАНТ, Я ВСЕ ВРЕМЯ ЖИЛ В ЗАКРЫТОЙ СТОЙКЕ...

*Из беседы ДМИТРИЯ ШАЛИНА² с БОРИСОМ РАББОТОМ,
5 августа 2008 года*

Дмитрий Шалин: Борис, если можно, расскажите немного о себе, о родителях, о Вашем пути в социологию.

Борис Раббот: Я родился в очень большой еврейской семье, но отец бросил мою мать, когда она была в положении. Это отразилось на мне психологически, потому что я рано стал заботиться о матери, которую очень любил. Как вы знаете, у многих сыновей инстинкт защиты брошенной матери необычайно силен. Семья была обрусевшая. Прадед мой по линии матери был из кантонистов. В четырнадцатилетнем возрасте его украли у очень крупного раввина в западной черте оседлости, и он прослужил в армии Николая I 25 лет, за что и получил право жить в любом городе России, включая Москву и Петроград. Но выбрал он, как ни странно, Кострому. Видно, присмотрел себе там красивую крестьянку. Я ездил в Кострому с лекциями, когда работал в журнале «Наука и религия». Там сохранился дом, где жили мои родные, но точных данных о прадеде я не нашел.

Я бы не сказал, что бабушка моя и дед были из числа интеллигенции, но почти все их дети получили высшее образование, включая мою мать. В двадцатых годах после окончания Гнесинского института мать начала петь в Большом театре, но сорвала голос. Приезжала итальянская делегация отбирать людей для учебы в Италии — тогда еще это было возможно. Мать предупредили, что нельзя петь при ангине, но она так увлеклась, что у нее появилась мозоль на связке. Тогда операций на связках не делали, и ей пришлось искать другую профессию. Так она стала медиком и фармакологом и решила завести ребенка. В Кострому мама приехала уже беременная, родила меня, а через год увезла с собой в Москву.

² Дмитрий Шалин — социолог из Санкт-Петербурга, бывший аспирант известного социолога Игоря Кона, профессор кафедры социологии Университета штата Невада.

Семья по своим взглядам была очень скептически настроена в отношении Сталина и коммунистов. То есть открыто об этом не говорили, потому что боялись, что дети где-то проболтаются, но антисталинский дух чувствовался в словечках, которые употребляли. Сталина, например, называли «ойчетц», что по-еврейски означало «приемный». Это язвительное от «отца» — смешанное слово, в котором русский корень и еврейское начало соединены воедино.

Дух семьи отразился на мне своеобразно. Он вызвал интерес к социальной теме. Кажется, уже к восьмому классу я прочел почти все полное собрание сочинений Ленина. Я был очень упрям и увлекся этим. Я бы сказал, что это был главный мотив, который меня толкал к философии и социальным наукам. Хотя был и другой: в 1945 г. Сталин произнес тост за здоровье русского народа — тост, вызвавший волну антисемитизма.

С неприязнью к евреям я сталкивался и раньше. Во время эвакуации мы были на Урале, и отношение к нам среди местного населения (по большей части, ссыльных кулаков) было очень отрицательным. Но тогда я не связывал это с национальностью. Дело в том, что эвакуированные заняли часть квартир, которые местные держали для себя. Эвакуированные были грамотными, им завидовали, у них выменивали вещи, их считали богатыми. Многие приехали с большим запасом одежды, но голодали.

Сталинский тост раздул антисемитские настроения. Я поступал в Московский университет в 1948 г., когда ЦК дал прямую команду не брать еврейских ребят на гуманитарные факультеты. Помню сцену после объявления результатов первого сочинения. Весь двор на Моховой перед старым зданием университета был заполнен еврейскими ребятами. Большинство из них всегда писали сочинения на «отлично». Вообще были круглыми отличниками, как и я. И всех нас срезали, все мы попали под одну статью. Спустя много лет у меня в МГУ появились знакомые. По моей просьбе они нашли сочинение, за которое мне поставили тройку. Оказалось, что в слове «посредственный» второе «н» у меня было выписано не очень четко. Этого было достаточно, чтобы снизить оценку на два балла.

ДШ: Значит, в МГУ не удалось поступить?

БР: В итоге я поступил, но экстерном на Юридический. А на следующее лето сдавал еще раз экзамены на Философский,

и получил 25 баллов из 25. И опять меня не приняли. Но на этот раз мне помог мой дядька, брат матери, который меня воспитывал. Он пошел к проректору (был такой по фамилии Вовченко), показал ему мои документы и спросил: “Почему?” Тот ни слова не произнес и подписал: “Зачислить”. Потому что было очевидное нарушение закона. Чем я занимался? Меня тянуло к современной политике, в частности, к проблемам мира и безопасности в советской политике. Но, начиная с третьего курса, я больше занимался зарубежной философией и поступил на кафедру западноевропейской философии. Туда входила также и социология, хотя в названии кафедры это не отражено. Заведующим кафедрой был профессор Ойзерман.

ДШ: Насколько я знаю, среди ваших сокурсников был ряд студентов с большим будущим.

БР: Там были Ильенков, Зиновьев и трое аспирантов. Помимо меня, еще Пешков и молодой Мамардашвили. Еще был там такой преподаватель Корьяков, очень приятный человек. Он потом ушел из философии совсем и занялся своей любимой географией.

Будучи аспирантом, я начал успешно преподавать на старших курсах гуманитарных факультетов МГУ историю западноевропейской философии и социологии. Ну, социологии мало было тогда, ее пинали ногами. Я делал упор на Гоббса, на социальную философию, которую надо было знать. Но даже это кончилось тем, что в итоге мне не дали возможности остаться на преподавательской работе.

ДШ: Это уже после защиты диссертации?

БР: После аспирантуры, потому что в 1956 г. (или в 1955, точно не помню) вышел закон, по которому, прежде чем защищаться, нужно было иметь печатные работы. Мы были первым поколением, попавшим под этот закон. Защищаться мы не стали, но ребята так или иначе устраивались на работу, а для меня, еврея, это была тяжелейшая проблема. Помню, я вел список после студенческой скамьи, сколько мест обошел, в какие двери стучался. В первом случае это было, по-моему, что-то около 250 адресов (я записывал не для статистики, а чтобы иметь адреса), а после аспирантуры количество мест, которые я исходил, было около трехсот. Нигде не брали, хотя всюду были вакансии.

Официально моим научным руководителем был историк западной философии Василий Васильевич Соколов. Но своим настоящим руководителем, человеком, который сыграл огромную роль в моем воспитании, я считаю Валентина Фердинандовича Асмуса. Асмус же познакомил меня с моим литературным наставником, со своим другом, Борисом Леонидовичем Пастернаком.

Мы познакомились в доме-музее Скрябина. На Арбате, недалеко от театра Вахтангова, в те годы еще жили сестры композитора, и по субботам они музицировали в доме Скрябина. Однажды Асмус меня пригласил, и там был Пастернак. Когда я собирался домой, неожиданно выяснилось, что Борис Леонидович идет на Потаповский переулок около Чистых прудов, где я в то время жил. Как потом выяснилось, на Потаповском жила его последняя любовь Ольга Ивинская. Мы пошли вместе и расстались около моего дома — ему еще надо было пройти немного дальше. Это была первая из наших бесед (всего мы встречались раз десять, включая ту встречу в доме-музее Скрябина), и говорили мы не столько о поэзии, сколько о философии. Борис Леонидович сыграл решающую роль в доработке моих мозгов. Они были очень критичны, но, как у всякого молодого человека, не без сумбура. Небольшие осторожные замечания, которые Пастернак делал в ходе беседы (он мне доверял из-за рекомендации Асмуса, с которым у меня были очень откровенные отношения) окончательно расставили все по своим местам... Асмус считал, что среда, в которой мы находимся, среда философов со степенями — это среда воров. Когда я написал первые главы своей диссертации об эпистемологии Лейбница (меня интересовало, почему в человеческом мозгу возник интерес к проблеме бесконечно малых величин, — вы знаете эту проблему), я обратился к Асмусу с вопросом, стоит ли опубликовать эти главы как статью в сборнике, который готовил Институт философии. Он сказал: «До защиты диссертации — ни в коем случае. У вас всё украдут». Но саму статью он прочитал, и она ему очень понравилась.

ДШ: Когда вы защищали диссертацию?

БР: Я ее не защищал, так и ушел не защитившись. И статью не послал. Диссертация осталась незаконченной, потому что надо было публиковаться, а публиковаться невозможно из-за того, что всюду воры.

ДШ: Тогда и начались проблемы с трудоустройством?

БР: Да, проблема с трудоустройством у меня была. Но весьма своеобразная. Мне предложили две работы за одну зарплату. История вкратце такова: меня взял к себе первый заместитель правления Общества «Знание», бывший цензор Советского Союза при Сталине Константин Кириллович Омельченко. Одно время он был редактором «Труда», а потом начальником Главлита. Сталин предпочитал советоваться с ним по острым идеологическим вопросам, поскольку Омельченко был первоклассным политиком, кандидатом в члены ЦК. Большая умница, но после смерти Сталина его сняли с работы. Он долго сидел в резерве, пока его не назначили первым заместителем председателя правления Общества «Знание». Так вот Омельченко и взял меня на работу ответственным секретарем бюллетеня Общества «Знание», но с условием, что параллельно за те же деньги я буду писать ему диссертацию. Дело в том, что он хотел устроить для себя «подушку». Ему надоела вся эта административная возня, и он решил уйти преподавателем в Высшую партийную школу или Академию общественных наук, чтобы спокойно дожить до старости. Тема диссертации, которую он выбрал, а мне предстояло написать, противоречила моим взглядам: «Международное значение опыта КПСС». Но выхода не было, и я стал писать, и уже с первых глав он понял, что тема эта неразрешима. Я с самого начала предупреждал его, что он себя подставляет, что по этой теме его заклюют попы марксистского прихода, потому что это самая страшная тема, которая может быть. Вскоре, уже при Хрущеве, его освободили от занимаемой должности и, как водится, «пристроили» главным редактором журнала «Советские профсоюзы». По его просьбе я перешел с несколькими молодыми людьми в новый создающийся журнал. Я стоял у истоков этого журнала. Он называется «Наука и религия».

Я всегда очень увлекался религиозной тематикой. Видите ли, моя бабушка была человеком глубоко верующим. В доме держали религиозные книги, в частности, три тома Гемары на иврите и на русском языке – редчайшие издания. Гемара, если вы не знаете, это толкование Талмуда. И пока бабушка была жива, она учила меня исключительно по ним. До восьми лет я многое знал наизусть и даже неплохо говорил на иврите. После ее смерти постепенно почти все забылось, но что-то эмоциональ-

ное в душе осталось. Я бы сказал, что это была некоторая интенция, которая меня толкала в сторону этой проблематики.

Именно в годы работы в журнале я понял, наконец, в чем основной порок коммунизма. Без понимания истории христианства и иудаизма мне бы не удалось прийти к этому пониманию. Пастернак этому способствовал в ходе нескольких серьезных разговоров, но одно дело — услышать, и совсем другое — прочитать и самому вникнуть в суть прочитанного.

Как единственный еврей, я возглавлял в журнале еврейскую тематику. Первое, что насторожило ЦК (там еще не знали, что я был мозговым центром группы этих молодых ребят), был очерк о Библии евреев. Называлась статья «Палочка шамеса». Это о лагерях в Кохтла-Ярве, где немцы истребляли людей тем же способом, что и в других лагерях — заставляли перетаскивать камни с места на место, потом обратно; унижали страшно людей. Меня мучил вопрос, почему, даже зная об участии евреев Германии и Польши, евреи, жившие в Таллинне, не уехали из Эстонии. Я потом встречался с людьми, которые пережили Холокост в Прибалтике, и убедился, что причина была очень простой. Поскольку многие прибалтийские евреи получили образование в Германии, они просто не верили, что немцы — цивилизованные люди, нация Гейне и Гете — могли издеваться над людьми.

И еще меня очень интересовала судьба самого видного историка еврейского народа Семена Дубнова. Он был сторонником диаспорального расселения евреев. Необычайно интересная личность. Известно, что он вел дневники. Я мечтал их найти и обратился за помощью к людям, прошедшим гетто. Они показали мне дом в Риге, на втором этаже которого он жил. Сказали, что в 1942 его вместе с другими евреями немцы вывели на улицу, где он упал и умер. По другой версии, его пристрелили. Увы, дневников Дубнова, к моему великому сожалению, я не нашел. Не исключено, что новые жильцы бросили их на растопку, потому что дрова в Риге были тогда на вес золота. А может, немцы сожгли — кто знает.

Публикация моей статьи о Кохтла-Ярве вызвала недовольство в ЦК. И хотя тема, вроде, была проходная, приветствовалась (ведь Советская армия спасла евреев от всего этого), во мне почувствовали скрытого еретика. Репутация «еретика» сопровождала меня и в дальнейшем. Журнал мы делали втроем: я, Борис Григорян — очень приличный человек, который впоследствии

работал в Институте философии, и еще один журналист. Я, конечно, играл роль «заводилы» и поставил задачу, которую мы в итоге реализовали: истребление воинствующего атеизма.

ДШ: Чтобы его место занял научный атеизм?

БР: Нет-нет. Я потом ввел отдел истории и теории атеизма. Надо было доказать, что курс этих старых атеистов (а их было большинство и в редколлегии, и кругом — они еще с двадцатых годов руководили делом) очень вредный. Причем не только в гуманитарном отношении, но и конкретно. Они ведь призывали закрывать церкви силой. Для меня это было категорически неприемлемо. Я тогда очень много общался со священнослужителями, был в прекрасных отношениях с ленинградским митрополитом Николаем, который ведал иностранными делами Русской православной церкви. Он ко мне хорошо относился. И воинствующих атеистов мы одолели. Просто не пускали их в журнал или переписывали статьи. Я собственно вручную переписывал.

Вторая задача, которую мы перед собой ставили — начать искренний и равноправный диалог с богословами православной церкви. Это тоже, к сожалению, легло на мои плечи, и в Отделе пропаганды ЦК сие не осталось незамеченным. Тогда отрекся от религии некий профессор Ленинградской богословской академии по фамилии Осипов. Сейчас об этом мало кто помнит, но в те годы история наделала много шума. Даже в «Правде» появилась большая статья по этому поводу. На страницах нашего журнала началось ее обсуждение, и одним из откликов было письмо коллеги Осипова по духовной семинарии профессора Миролюбова. Маленькое такое письмишко, всего на одной странице, и смысл его сводился к следующему. Дескать, сами вы, профессор Осипов, можете не верить в Бога, но подумайте о рядовых верующих — о «малых сих», как называл их Миролюбов, — тех, для кого вопрос веры является смыслом духовной жизни. Или если не смыслом, то единственной оставшейся у них опорой. Миролюбов не расписывал тогда, как тяжело при советской власти рядовым верующим, про гонения и т.д. — это и так было ясно. Мне удалось добиться разрешения на публикацию этого письма при условии, что будет ответ Осипова. Тогда я специально выехал в Ленинград и уговорил Осипова ответить. Это было в начале шестидесятых, когда публикация письма богослова в атеистическом журнале была довольно дерзким поступ-

ком. Конечно, без ответа Осипова никто бы мне не разрешил его опубликовать. Но уже сам факт публикации, честный диалог, попытка представить в журнале два противоположных взгляда — мне это представляется большим достижением.

Наконец, третья задача, которую ставил перед собой наш журнал — прекратить преследование верующих за их взгляды. Здесь-то и произошел тот конфликт, из-за которого я был вынужден с боем покинуть занимаемый пост. Меня стали травить из ЦК. Тогда же сменился главный редактор. Поводом для конфликта послужило письмо двадцатипятилетней женщины из Минска, баптистки, муж которой публично отрекся от религии. Она решила обратиться к нам, потому что такие публикации как письмо Миролюбова необычайно повысили авторитет журнала — тираж рос просто как на дрожжах. Письмо этой женщины попало ко мне — письмо интереснейшее. Она писала, что муж ее отрекся от религии, потому что у него завелась любовница, и он теперь живет с ней и двумя детьми, а ее — свою законную жену и мать этих детей — выгнал, чтобы оградить их от ее баптистских воззрений. Женщина писала, что тайно встречается со своими детьми, но никогда не мешала им быть пионерами или ходить на собрания, никогда никакой веры специально не прививала. Меня это письмо очень заинтересовало. Я увидел, в нем в первую очередь нравственную проблему. Мне было очевидно, что ее муж — обыкновенный бандит, которому захотелось обыкновенного бабца, и он просто решил выселить мать двоих детей из квартиры под предлогом того, что она верующая. А в газетах его представляли чуть ли не героем.

Я нашел знакомого корреспондента, которому доверял, зная его как человека добросовестного. Он загорелся, поехал и написал страшный, убийственный очерк об этой истории. Мы попытались его опубликовать, но цензура не пропустила. Тогда мы пошли на хитрость: вставили кусочек из этого очерка, выжимку из него, в текст речи, с которой наш главный редактор должен был выступить на большой атеистической конференции. А когда конференция прошла, опубликовали это как отрывок из выступления нашего главреда. В ЦК специально принялись выяснять, кто всю эту комбинацию проделал. Оказалось — Работ. Меня подвергли настоящей травле, выгнали из журнала, сделали все, чтобы я никуда больше устроиться не мог. Когда друзья организовали мне встречу с Румянцевым (в ту пору главным редактором «Правды»), и он хотел предложить мне место,

ему позвонил заведующий Отделом пропаганды ЦК и «обложил» меня последними словами. Позднее Алексей Матвеевич говорил, что мог бы за меня побороться, но игра не стоила свеч, поскольку он знал, что скоро его самого «уйдут» из «Правды». Мы договорились, что встретимся в Академии наук. Он мне дал ясно понять, что хотел бы со мной работать.

ДШ: Наверное, в КГБ вами тоже тогда заинтересовались...

БР: В КГБ мной заинтересовались намного раньше, еще на первом курсе философского факультета. И это, конечно, тоже помогло мне «прозреть» еще до XX съезда. Меня вызвали в КГБ с просьбой дать показания на ребят-экстерников. Я был вхож в их компанию. Они собирались на квартире у паренька, отец которого, комиссар, был расстрелян в 1937. Там было первое собрание сочинений Ленина с комментариями Троцкого, Зиновьева и так далее — в ту пору большая редкость. Мы зачитывались этими вещами и слушали иногда «Голос Америки». Шел январь 1949 г. — начало кампании по борьбе с космополитизмом. Я сказал, что у нас такие-то и такие-то разговоры и интересы, но что ничего политического в них нет. Вроде бы и все. Но буквально через несколько дней меня вызвали в другое место и опять попросили рассказать об этой компании, а потом задали вопрос напрямик: вы нам поможете их разоблачить? Я сказал, что это честные ребята и что разоблачать их не в чем — и вдруг ощутил страшный удар в плечо. Обернулся — и увидел, что за моей спиной стоит человек цыганского вида. От него разило сивухой. Откуда он взялся — не знаю. Я был неопытен, вскочил, схватил за ножки табурет, на котором сидел, и сказал: «Еще раз ударишь, получишь от меня табуретом». Тут из разных дверей (а там их было несколько) вбежало четыре или пять человек, выхватили у меня табурет и начали меня этим табуретом бить. Я упал на пол, закрыл голову руками, но один из ударов вызвал страшную боль, и я потерял сознание. Очнулся я во дворе собственного дома на Потаповском от очень неприятного ощущения во рту. Принюхавшись, понял, что от меня пахнет спиртом. Потом мне объяснили, что, по-видимому, мне в горло залили водки, чтобы в случае если я умру от побоев, милиция могла установить факт смерти от опьянения. Я дополз до дома (по счастью, квартира мамы была на втором этаже) и две недели не мог двигаться. Оказалось — трещины в двух позвонках. Слава Богу, молодой организм (я был спортсменом, играл в волейбол)

как-то вытянули меня. Но это очень многое определило. Я уже ненавидел эту систему.

ДШ: Борис, а вступать в комсомол, в партию вам приходилось?

БР: В комсомол я вступил в школе вполне искренне. Мы были молоды, не задумывались о многом. А в партию до работы в журнале я не вступал. А вступил, потому что надеялся сделать больше изнутри партии, чем извне. Тогда многие вступали именно с такой мыслью. Это был хрущевский период до 1964 г.

ДШ: Из журнала вас уволили, или вы сами ушли?

БР: Меня вынудили написать заявление «по собственному желанию».

ДШ: И вскоре после этого вас представили Румянцеву, который уже собирался переходить в академический мир.

БР: Меня рекомендовали Румянцеву два моих однокашника. Один из них был помощником Румянцева в «Правде» и работал с ним еще в Праге в журнале «Проблемы мира и социализма». Тогда была целая группа «пражан», к которой позже и меня причисляли. «Пражанами» называли группу людей, которые вернулись в Москву из Праги и находились под влиянием идей еврокоммунизма. Они отнекивались от этого названия, чтобы не создалось впечатления, будто в партии возникла какая-то группировка. А в 1965 г., когда Румянцев перешел в Академию на должность академика-секретаря Отделения экономики, я сразу стал с ним работать в качестве ученого секретаря этого отделения. В мои обязанности входила работа по оценке теоретической деятельности институтов и одновременно (это приходилось делать всем помощникам необразованной советской элиты) написание за шефа статей, докладов и книг. Объем работы был огромен, а зарплата крошечная, но выбирать не приходилось. А в 1967 г. было принято решение о создании Института конкретных социальных исследований. Он создавался на моих глазах и при моем непосредственном участии.

ДШ: Что особенно запомнилось из этого периода?

БР: Когда Румянцев стал вице-президентом Академии наук, в его распоряжение перешел аппарат бывшего вице-президента Федосеева. Он состоял из нескольких ученых секретарей и ре-

ферента, который оказывал Румянцеву личные услуги. Я был единственным, кого Румянцев привел с собой, поэтому относился к его аппарату весьма настороженно. Моего глаза они как-то побаивались, а Алексей Матвеевич в людях не понимал, он слишком... Как вам сказать... Во-первых, старость. Вообще это было его слабое место.

ДШ: Кадровая политика?

БР: Не только. У него дома всем руководила жена — умная женщина, еврейка. И это сказалось на Алексее Матвеевиче. Когда тобой все время командуют дома, ты и на работе не чувствуешь себя достаточно сильным. Кроме того, он по натуре был человеком мягким, либерально настроенным. В то время было очень много выдвиненцев, которых назначали на ответственные посты вопреки их характеру. Румянцев — яркий тому пример. Он ведь стал заместителем заведующего Отделом культуры ЦК по личному указанию Сталина, который заметил его на одной из экономических конференций. Румянцев предложил какую-то формулу об основном экономическом законе социализма, и эта формула очень понравилась Сталину. (Подробностей я не знаю, так как в то время с ним не работал, но закон этот мне казался крайне сомнительным. Ну, неважно, это было сделано из лучших побуждений.) До переезда в Москву Румянцев был секретарем Харьковского обкома партии по идеологии, а Харьков — очень своеобразный город. Там превалировала такая полуинтеллигентская оппозиционно настроенная среда, существовало напряжение между русскими и украинцами. Это очень влияло на психологию людей. Румянцев отстаивал интересы русского населения. (Кстати, там жило и довольно много евреев).

ДШ: Как строилась ваша работа с ним?

БР: С Алексеем Матвеевичем мы часто разговаривали тет-а-тет. Обычно такие беседы проходили в академическом санатории «Узкое» недалеко от Москвы — там большой участок, сад, огороды. Мы ходили и разговаривали. А у себя в кабинете он говорить боялся из-за подслушивающих устройств. Был он человек влиятельный, знал членов Политбюро и прекрасно понимал, о чем можно говорить вслух, а о чем — нет.

Я занимался теорией, а у Алексея Матвеевича чем дальше — тем больше разгорался аппетит на мои статьи, на то, что я для

него делал, поскольку это создавало ему очень высокую репутацию. Помню, в 1968 г. я написал ему доклад для выступления на Парижской конференции. В ней принимали участие все ведущие социологи мира. И после выступления к Румянцеву подошел сам Раймон Арон и сделал ему комплимент, которого мой шеф никак от Арона не ожидал. А это уже международное признание! Неудивительно, что ему хотелось еще и еще.

ДШ: Иметь референта с головой — дело хорошее.

БР: Не просто референта, а автора, который сидит и пишет. Я не возражал. Ни одну из идей, которые я вставлял в его доклады, я не мог бы опубликовать от своего имени. Это было нереально. А под его фамилией написанное мной публиковалось, и это все искупало. Увы, он не всегда использовал мой текст честно, но это другая тема.

ДШ: Румянцев помогал академическим людям с неортодоксальными взглядами?

БР: Да, но каждый раз с моей подачи и под моим нажимом. Румянцев участвовал почти во всех делах диссидентов, пытался помочь. Имена тех, за кого он заступался, сейчас хорошо известны. Например, историк Михаил Гефтер, Рой Медведев, Александр Аскольдов... Хотя изредка я отговаривал его помогать, когда видел, что вопрос выходит за рамки его компетенции. Например, так было с Театром на Таганке. Мы пошли на спектакль «Галилей», и я шефу честно сказал, что спектакль мне не очень понравился. Я был против закрытия театра, но считал, что вмешательство Румянцева может быть только косвенным, потому что это не в его компетенции. Это не академическое дело.

У Румянцева было несколько «рычагов воздействия». Во-первых, через помощника Демичева Ивана Фролова — будущего главного редактора «Вопросов философии», специалиста по критике лысенковской генетики. С ним мы вместе учились в аспирантуре. Во-вторых, у Румянцева были очень хорошие отношения с помощниками Сулова. Кроме того, у него были регулярные встречи с членами Политбюро. Он ведь почти всех знал лично. Повлиять на них вряд ли мог, но возможность высказать свою точку зрения у него была. Он дружил с Подгорным, с Пономаревым (я часто слышал их разговоры по вертушке). Очень сблизился в последние годы с Андроповым.

У него было около десяти встреч с Андроповым на конспиративной квартире, и конспекты по ним готовил Румянцеву я. Обсуждался вопрос о том, какой быть перестройке, если говорить современным языком. Я имею в виду «андроповскую перестройку» — ту, которая не состоялась из-за его преждевременной смерти. Но проекты ее уже имелись.

Фактически Румянцев стал лидером либеральной оппозиции — особенно после провала реформ и Чехословацких событий. Но в итоге ему пришлось поплатиться за свои взгляды. В начале семидесятых на заседании секретариата ЦК его сняли со всех постов и вынесли выговор с формулировкой «За либерализм». Председателем этого заседания и автором формулировки был Суслов, который не простил Румянцеву его выступлений в защиту диссидентов, театров и так далее.

Алексей Матвеевич боролся не с консерватизмом вообще, а с нелепостями системы. Для меня это пример человека, прошедшего путь от сталинизма к демократическому социализму, но остановившегося на полдороге. Как человек, выросший в годы гражданской войны, он понимал значение завоеваний революции. Понимал, что их нельзя просто выбросить на улицу, как это делали поначалу перестроечники. В России слишком много крови пролилось. Я бы сказал, что Румянцев хотел постепенной эволюционной перестройки страны. Я лично до сих пор уверен, что это был единственно правильный путь. Принцип здесь один: тише едешь — дальше будешь. Иначе покалечишь всю страну.

ДШ: Если не ошибаюсь, Сахаров тоже руководствовался этим принципом.

БР: С Сахаровым был очень показательный эпизод. В 1967 Андрей Дмитриевич принес Румянцеву свой знаменитый меморандум с предложением подписать его совместно. Румянцев ему объяснил, что если под меморандумом появится его подпись, то его деятельность в ЦК будет парализована. У них был сравнительно недолгий разговор, в конце которого (как потом мне рассказывал Румянцев) он понял, что Сахаров — очень хороший человек и очень большой идеалист, но малограмотен в гуманитарных вопросах. Алексей Матвеевич переадресовал Сахарова ко мне, сказав: “Поговорите с моим помощником”. У меня было два разговора с Сахаровым. Первый длился часа четыре, вто-

рой — часа три, и за это время я очень многое успел ему рассказать, старался быть аккуратным, ни в коем случае не обидеть, но убедился, что Румянцев прав. Сахаров был милейшим человеком с удивительным чутьем на международные вопросы. Он прекрасно понимал значение всей мировой склоки, вернее, мирового клубка вокруг атомной бомбы. Но при этом гуманитарно был совершенно не образован. К сожалению, продолжать наши встречи мы не могли: Румянцев предупредил меня, что могут быть неприятности. Позднее, уже в 1968 (после создания ИКСИ), Алексей Матвеевич рассказал мне такую историю. Ему пришло от Сахарова письмо, в котором Сахаров извещал Румянцева, что встречался с зав. отделом науки ЦК Трапезниковым и получил разрешение выступить в ИКСИ с докладом о ядерной бомбе и международных проблемах с последующей дискуссией по этому вопросу. Алексей Матвеевич мне говорит: “Я позвонил Трапезникову и спросил, действительно ли было такое разрешение”. Трапезников говорит: “Я никакого разрешения не давал”. Румянцев мне говорит: “Как это понять?” Я говорю: “Алексей Матвеевич, я лично больше верю Сахарову”. Румянцев был бы рад предоставить трибуну Сахарову, но не мог сделать это без согласия Трапезникова. Это был 1968 год, канун Чехословацких событий. Я был уверен, что Сахаров поднимет эту тему, и не видел ничего страшного в том, чтобы социологи ее обсудили. Румянцев тоже так считал. С точки зрения здравомыслящей части советской верхушки Сахаров был бы менее опасен, если бы ему дали возможность выступить в академическом институте.

ДШ: Я знаю, что в судьбе Твардовского Румянцев тоже принимал участие.

БР: Перед снятием Твардовского с поста главного редактора «Нового мира», когда ему шли реляции из Союза писателей о том, что будет смена редколлегии, Александр Трифонович позвонил Румянцеву. Они дружили еще со сталинских времен, и Румянцев очень уважал Твардовского за прямоту и честность. (Он мне не раз говорил, что Твардовский — честный человек.) Так вот Твардовский позвонил Румянцеву с просьбой написать статью о Ленине в юбилейный номер (в 1970 г. праздновался столетний юбилей Ленина) и заодно рассказал о развязанной против него травле. Алексей Матвеевич горячо его поддержал, а статью, как всегда, поручил написать мне.

ДШ: Сам он писал уже мало?

БР: Он уже давно совсем не писал. В лучшем случае, просматривал. Все, что вышло под его именем, написано мной. А основная моя работа вылилась в его книгу «Проблемы современной науки об обществе».

Но вернемся к статье о Ленине. Видите ли, это была для меня довольно неприятная тема. Я вообще не очень высоко ценил основателя советского государства. Понимал уже в шестидесятые годы, куда уходят корни большевизма. Но я откопал очень интересный материал, который показывал неграмотность советских руководителей брежневского периода. Я заказал в ФБОНе — Фундаментальной библиотеке общественных наук — материал о том, кто из членов первого советского правительства выступал со статьями в печати, кто писал сам и за кого писали другие. Интуиция меня не подвела. Из пятидесяти членов первого советского правительства в ежедневной печати выступали сорок девять человек, и никто за них, естественно, не писал. Они писали сами. Я эту тему прокрутил в статье «Ленин как литератор».

Румянцев поставил меня в жуткое положение с этой статьей. Ее нужно было закончить за месяц. Я работал день и ночь, совершенно измотался. При этом мои обязанности по работе в секторе ИКСИ никто не отменял. Но, в общем, уложился, представил статью к сроку. Каково же было мое удивление, когда уже после снятия Твардовского вышел номер «Нового мира», и я увидел, что часть о том, как члены первого большевистского правительства сами писали свои статьи, отсутствует. Через знакомых в редакции я выяснил, что часть эту вычеркнул сам «автор» — Румянцев.

ДШ: Не поставив вас в известность?

БР: Вот именно. Румянцев обычно ничего в моих текстах не исправлял. Иногда только вставлял в первую фразу слова “партийность” или “классовость”. (Это старые штучки). Сам он писал с трудом, застревал на первом же предложении, в которое обычно хотел втиснуть сразу все свои мысли. А у меня был большой редакторский и журналистский опыт. Кроме того, как историк философии, я разбирался в этих проблемах. А здесь он снял, потому что отчасти это был камушек и в его огород.

ДШ: Сам подпадает под этот анализ.

БР: Ну, да. Он, вообще, академик, его трудно было упрекать. С другой стороны, мы знаем, что такое «пролетарский» академик... Я не мог этого забыть. Понимаете, даже когда пишешь за кого-то, у вас возникает чувство родственности по отношению к тексту. Жалко, когда его калечат. Я вспоминаю рассказ одного из авторов воспоминаний о Бовине — о том, как в его присутствии кто-то (по-моему, Катушев) спросил у Брежнева, можно ли в его докладе переставить один абзац на другое место, и Бовин (который этот доклад писал) бросил такую реплику: “Это все равно, что ухо переставить к жопе”. Саша был на это способен. Когда с вашим текстом делают такую пересадку, то возникает очень неприятное чувство — будто хирург полоснул скальпелем не по тому месту. К сожалению, с Бовиным дружбы у нас не сложилось. Человек он был интересный, хотя и не без карьерных соображений. Нам было о чем поговорить. Он ведь писал диссертацию о бесконечности в математике, и это сходилось с проблематикой моей диссертации о бесконечно малых величинах. Он оскорбился, когда я ему однажды сказал: “Ты интеллектуально обслуживаешь серолапых медведей”.

ДШ: А в вашей статье о Ленине «вылетело» только это место?

БР: Все осталось. Только заголовок в редакции изменили. Я Алексею Матвеевичу напомнил об этом в 1973 г., когда он ушел с работы, и из Академии с поста вице-президента. Я его не бросил, жалел. Как-то он еще пытался барахтаться, надеялся, что его изберут в члены ЦК. Политики ведь не меняются. Карьерность у них в крови, в костях. Мне было ясно, что его гложет совесть. Я был для него одновременно и помощником, и другом, и душеприказчиком. Он понимал, что я к нему очень хорошо отношусь, что я искренне желаю ему добра.

ДШ: Вы ничего не рассказали о вашей работе в ИКСИ.

БР: Я там заведовал сектором экспериментальных исследований. Этот сектор мы создали, чтобы решать проблемы, которые могли быть вызваны к жизни экономической реформой. В том, что реформа рано или поздно начнется, я не сомневался. Понимал, что мы живем в эпоху не развитого, а склеротичного социализма, что дело идет к концу. Потому и заинтересовался социальными экспериментами.

На сектор возлагались две основные функции. С одной стороны, Румянцев хотел, чтобы мы давали практические рекомендации, обрабатывая данные проводимых исследований. С другой, чтобы мы сами проводили исследования экспериментальных ситуаций путем опросов, выяснения проблем, предложений и т.д. Первые же эксперименты показали, что в ходе экономической реформы возникнут огромные проблемы. Во-первых, децентрализация власти приведет к необходимости переквалификации рабочей силы — изменятся функции рабочих, инженеров и т.д. Во-вторых, возникает необходимость в перемещении рабочей силы по районам. В-третьих, встанет проблема социального обеспечения безработных. Все это требовало осмысления. Я набрал людей, которые сами себя образовали в социологическом плане. Не было же тогда системного социологического образования.

ДШ: Сколько сотрудников было в секторе?

БР: Со мной вместе — десять человек. Но трое из них — евреи, поэтому когда начала работать знаменитая комиссия ЦК, МГК и райкома, мне выдвинули обвинение в «засорении» кадров. Для них это выглядело неслыханной наглостью: мало того, что заведующий сектором сам еврей, так еще позволяет себе брать на работу других евреев. Чаще всего, евреи боялись брать на работу своих соплеменников.

ДШ: Вы можете кого-то назвать?

БР: Из социологов более или менее известных — Михаил Лойберг. А из социологов-самоучек — бывший математик Александр Ицхокин. Лойберг привел его со словами, что это будет у нас еще одна «рабочая лошадка». Саша был очень талантливый, все хватал на лету. Но с теоретической частью мне никто из них помочь не мог — писать Румянцеву все равно приходилось мне. И это параллельно с работой над моей собственной докторской диссертацией по теме «Проблемы эксперимента в социальном исследовании». Ну, а по поводу докторской у меня с Румянцевым произошел такой разговор. Я ему сказал, что готов написать диссертацию, но только по теме, которая действительно полезна, нужна. Мне надоело заниматься оторванной от реальности теорией. Понимаете, меня вообще идея защиты отвращала. Я понимал, что все это делают ради денег, и мне уже одно это было противно. Я немножко иначе был воспитан. Наука

меня тянула значительно больше, чем деньги. Я увлекался искусством, а деньгами — никогда.

ДШ: Когда создавался институт, вы были ученым секретарем Президиума Академии наук по общественным наукам и одновременно помощником Румянцева. Став заведующим сектором в ИКСИ, вы продолжали помогать Румянцеву неофициально?

БР: Официально. Румянцев не хотел меня отпускать. У него к тому времени были огромные аппетиты по литературной части. Вот лишь один характерный эпизод. Когда началось вторжение в Чехословакию, Румянцев отдыхал в Барвихе. Он вызвал меня туда с просьбой написать статью с критикой чехословацкой реальности, которую от него потребовал международный отдел ЦК. По-видимому, на моей роже все было написано, потому что, посмотрев на меня, он сказал: «То, что вы не хотите, это хорошо. Я закажу другому». Стремясь уберечь его доброе имя, я сказал, что сделаю. Расчет мой был очень прост: затянуть как можно дольше. Он знал, что я иногда затягивал с трудными заданиями, и я действительно в тот раз запоздал. Правда, всего на один день, но этого хватило: необходимость в статье отпала, и его имя было спасено.

ДШ: Давайте вернемся к институтским реалиям. Помните, было такое дело Левады? Как вам все это виделось?

БР: Дело Левады очень запутанное. Я его наблюдал в деталях. К Юре Леваде я относился с симпатией и уважением, но друзьями мы не были. Знакомство наше состоялось еще на философском факультете МГУ — он учился на курс старше. Потом, через пять-шесть лет он издал книгу о религии и предложил статью на эту тему в редакцию журнала «Наука и религия» в мой отдел. Откровенно говоря, мне его книга не понравилась из-за своей поверхностности. По характеру мы были разными людьми: он внешне казался флегматичным, но временами позволял себе явное ехидство по адресу тех, кто ему не нравился. А я отношусь к ироничным людям настороженно, считая их недобрыми. Кроме того, Юра был окружен сотрудниками, которые им восхищались, а мне одинаково не нравится как власть над людьми (пусть даже и с помощью идей), так и идолопоклонники этой власти.

К сожалению, Юра был человеком, мягко говоря, далеким от политики, хотя чисто теоретически, наверное, понимал, что есть такая сфера человеческой деятельности, где лучше не размахивать красной тряпкой перед быком, где нужна тактика, умение защищаться и идти на компромиссы. Но, по-видимому, в глубине души он ставил себя выше этого. Мне кажется, что публикация «Лекций» стала для него идефикс и одновременно видом эпатажа против советского истеблишмента. Когда «Лекции» Левады обсуждали в Академии наук и в ЦК, больше всего ему досталось за сравнение коммунизма с национал-социализмом. Но кроме двух абзацев в самих «Лекциях», никто не мог предъявить ему ничего конкретного.

ДШ: Тогда говорили, что «нечеткая позиция Левады особенно пагубна для молодого поколения». Эта формулировка часто встречается в обкомовских документах.

БР: Совершенно верно. А придумал ее Николай Лапин, который в итоге сменил Румянцева на посту директора ИКСИ. До того серый человек, что ему следовало бы родиться крысой. Сколько я его помню по факультету (он учился на год младше меня), столько он занимался исключительно общественной работой. Ничего общего с наукой он не имел. Мозги у него работали только в плане где что происходит и как кому угодить. Первое, что он сделал, когда его назначили директором Института, — бросился выполнять все рекомендации комиссии ЦК, МГК и райкома по очистке кадров. Начал, естественно, с меня. Вызвал и говорит: «Слушай, я должен твой сектор ликвидировать». Я говорю: «Ты это считаешь нужным или просто берешь на себя?» Он говорит: «Что ты имеешь в виду?» Я сказал: «То, что ты делаешь, — я это имею в виду». Но я не возражал — понимал, что существование сектора невыносимо. Мне было ясно, что с реформой покончено навсегда. И я не ошибся: в те годы Брежнев окончательно положил проект реформы в дальний ящик письменного стола.

ДШ: Вам пришлось снова уйти «по собственному желанию»?

БР: Да. Знакомые ребята из Института естествознания создали сектор социологии науки. Он назывался сектором системных исследований. Я пошел туда заниматься социологией науки. Институтом тогда руководил Бонифатий Михайлович Кедров. Его заместителем был Микулинский. Микулинский меня и при-

гласил, потому что я помогал созданию отдела науковедения в этом институте. Он знал о моих знаниях и интересах.

ДШ: Расскажите о судьбе вашей книги «Проблемы эксперимента в социальном исследовании».

БР: Эта книга выросла из моей докторской диссертации и была издана для служебного пользования небольшим тиражом в несколько сот экземпляров, но без грифа «секретно». После критики Ягодкина на партийном собрании, где обсуждали «Лекции» Левады, мою книгу и еще, по-моему, книгу Капелюша, было принято решение избавиться от моей книги, изъять ее из библиотеки. За что? За то, что я называл ведущих социологов Америки (Парсонса, Мертон и других) коллегами. «Как говорит мой коллега», — писал я, и это больше всего возмутило Ягодкина. Постановили сдать книгу в утильсырье, но потом решили сжечь ее во дворе дома на костре. Меня об этом предупредили ребята. Было много свидетелей. Я туда не пошел, но попросил взять для меня несколько экземпляров. Это был последний мощный удар. Я продолжал работать с Румянцевым, но мой взгляд на социологию был крайне пессимистическим.

ДШ: Что вам запомнилось из самых последних встреч с Румянцевым?

БР: В 1972–1974 гг. мы встречались с ним практически каждое воскресенье в связи с его работой с Андроповым. Румянцев рассказывал мне о содержании их бесед. Они обсуждали вопросы о характере реформ, о темпе, о будущем партии, о будущем церкви — те вопросы, которые до сих пор не решены. Это, пожалуй, самое трудное в моей теоретической работе с Румянцевым. Одно дело представить себе прошлое России, которому я уделял много внимания в моей работе в журнале «Наука и религия». И совсем другое — представить себе будущее. Для меня это была безумно трудная задача. Опять же, у меня была своя работа. Приходилось работать ночами.

ДШ: Что оказало наибольшее влияние на ваше окончательное решение эмигрировать?

БР: Последним фактором, подтолкнувшим меня к отъезду, стало то, что Румянцев изменил своим принципам. Это произвело на меня ужасное впечатление. Я понял, что он перечеркнул свою карьеру. Но я виноват сам. Мне хотелось сделать из

него крупного политического деятеля, а «материал» к этому не располагал. Плеханов когда-то говорил, что Ленин сделан из того же теста, что и Робеспьер. Если человек сделан из другого теста, из него никогда не вылепить то, что ты хочешь.

Был еще и другой важный фактор. Я понимал, что черносотенцы в этой стране неистребимы. Я устал от еврейского вопроса, просто устал. Рожа у меня не похожа на еврея, но по паспорту я еврей. Для меня это был вопрос отношения к матери, которой я никогда не изменю. Она была несчастным человеком — великомученицей и бессребреницей.

И потом еще вот что: я раньше других понял, что такое советская власть. Большинство моих товарищей, знакомых, которые стали либералами, пришли к этому выводу после XX съезда. У меня же сложилось отношение к Советской власти значительно раньше, и это сделало жизнь невыносимой.

Как внутренний эмигрант, я все время жил в закрытой стойке. Я понимал, что говорить ни с кем нельзя: слишком много стукачей. В какой-то момент это стало просто невыносимо — и тогда я уехал.

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО

ПАЛОЧКА ШАМЕСА, или РАВВИН НА ГОЛГОФЕ³

«Ветхий завет» донес до нас сведения о некой палке, которой, если верить мифу, суждено было сыграть необыкновенную роль в истории еврейского народа и иудейской религии. Мы имеем в виду чудодейственный посох Моисея. Тот самый посох, который помог легендарному пророку древнееврейских беженцев избрать наилучший маршрут и благополучно вывести единоверцев из Египта.

Изящная трость, которую нам недавно показали в Таллине, по-видимому, мало чем похожа на священный посох. И тем не менее она по праву могла бы войти в историю евреев: она оказалась связанной с одной из недавних глав этой истории, с главой, неизмеримо более трагической, чем исход из Египта, с главой, которая, если искать параллели, больше напоминает не Моисея, а Христа — его путь на Голгофу...

Дипломатия и вера

Сказать, что таллинские евреи часто вспоминают эту подлинную, а не легендарную трагедию, — значит исказить истину, ибо нельзя вспоминать то, что невозможно забыть. Но 3 октября 1959 г. мысли об ужасных событиях недалекого прошлого с новой силой нахлынули на пожилых людей среди верующих, собравшихся в новой таллинской синагоге по случаю Рош-гашоно (Нового года). Причиной этого послужил неожиданный визит в синагогу господина М. Гата, второго секретаря посольства государства Израиль. Господин Гат приехал в город как частное лицо и явился в синагогу на улицу Кундари, 23, просто как единоведец к единоверцам — где же еще заброшенному в Таллин верующему еврею встретить Рош-гашоно?

Дипломата приняли как гостя. Важно и чинно проществовал он по храму, уселся на почетное место. Ему предложили

³ Статья была написана в соавторстве с М. Оппенгеймом и опубликована в журнале «Наука и религия» № 9, 1960

«матир». Главу из Пророков второй секретарь посольства читал торжественно и приподнято, с большим чувством.

Когда же молитвы закончились, господин Гат с удивившей посетителей синагоги быстротой отрешился от забот духовных и деловито перешел к заботам вполне мирским: всех, кто желает переехать в Израиль, он пригласил на беседу в отель «Палас».

К разочарованию господина Гата, в отель «на собеседование» никто не пришел. Дело в том, что для многих верующих евреев Таллина визит израильского дипломата не был такой уж неожиданностью. Они знали о такой же «частной» поездке господина Гата на Рижское взморье, где представитель посольства проводил свой очередной отдых. Больше того, до таллинцев доходили слухи о частных, полудоверительных беседах, которые он вел в Риге. Там дипломат действовал скорее как коммивояжер торговой фирмы. Он всячески расхваливал Израиль, убеждал не верить тому, что пишут о жизни в этой стране возвращенцы, раздавал карманные альбомы с видами Тель-Авива и текстом на древнееврейском и английском языках. «В Израиле плохо живет лишь тот, кто не желает работать!» — восклицал Гат, но всячески избегал вопросов о количестве безработных в «земле обетованной», об антинациональной политике израильских клерикалов.

Но особенно не нравилось господину Гату, когда разговор заходил о дружественных связях правительства Бен-Гуриона с покровителем гитлеровцев канцлером ФРГ Аденауэром. То, что говорил по этому поводу израильский дипломат, странным образом напомнило немногим оставшимся в живых прихожанам довоенной таллинской синагоги другие речи — проповеди раввина Гоммера, которые он произносил в июне 1941 г., проповеди, ставшие прелюдией и причиной трагедии.

Преступление раввина Гоммера

Старожилы Таллина хорошо помнят раввина Гоммера, человека с огромной черной бородой, который появился в городе лет за десять до начала войны и поселился в доме номер сорок по улице Нарва-Мантее. Раввин Гоммер был большим знатоком Пятикнижия, Мишны и Гемары. Он окончил в Германии религиозную школу — ешибот при берлинском раввинате и, говорят,

даже имел степень доктора философии. «О, наш раввин — это настоящий раввин!» — говорили верующие. А набожные старики, безгранично доверявшие Гоммеру, обращаясь к нему, по старой традиции возглашали: «Сначала Бог, потом — Ты».

Увы, куда хуже разбирался таллинский раввин в политике... Это, казалось бы, глубоко личное обстоятельство и сыграло трагическую роль в судьбе тысяч и тысяч прихожан Гоммера...

Началось с того, что июль 1940 г., принеший в Эстонию восстановление Советской власти, раввин Гоммер встретил хотя и не враждебно, но с чувством, весьма далеким от восторга, — настороженно, с опаской. Ведь коммунисты — безбожники! Гоммер знал это не только по рассказам о жизни в СССР, но и из собственного опыта: много лет в буржуазной Эстонии среди еврейской молодежи действовала тесно связанная с коммунистическим подпольем революционная организация «Лихт» («Свет»). Члены ее — поголовно неверующие! — рука об руку с коммунистами эстонцами и русскими боролись против фашистской диктатуры, против гитлеровского проникновения в страну, за восстановление Советов в Эстонии, за присоединение к СССР. Поэтому коммунизм и Советы представлялись Гоммеру враждебными и опасными — ведь они несли с собой атеизм, неверие...

Вопреки опасениям Гоммера, Советская власть, о которой он слышался страхов еще в Германии, не закрыла ни православную церковь, ни лютеранскую кирху. Не помешала она молиться и верующим евреям. Да, никакого насилия над религией новая власть не чинила. Но вместе с нею пришло то, что больше всего страшило таллинского раввина — массовый отход людей от синагоги, от веры в Яхве (Адоная). Всю вину за неудачи Бога и за свои собственные неудачи Гоммер возлагал на Советы, на коммунистов. Он не понимал, нет, не желал понимать, что это — свежий ветер, ветер новой эпохи ворвался в Эстонию.

В республике началась необычная жизнь — бурная и радостная. Фабрики, заводы и земли перешли в руки трудящихся. Их дети получили доступ во все школы и вузы. Люди всех национальностей — эстонцы и русские, латыши и евреи — стали... равноправными гражданами страны Советов. Социалистические устои, новые социалистические порядки прочно утверждались во всем.

Наступил зловещий июнь 1941 года... Раввин Гоммер не ждал его, встретил без радости, но спокойно — озлобление против тех, кто принес с собой безбожие, заслонило разум. Гитлер не представлялся раввину таким уж страшным, он склонен был считать, что коммунисты преувеличивают в своих речах и статьях жестокость нацистского режима. Конечно, раввин знал о тех преследованиях, которым подверглись в Германии его единоверцы. Но считал, что это — отдельные эксцессы, что рано или поздно правители Германии образумятся. Ведь Гитлер не отрицает религию, рассуждал раввин, он не безбожник, не атеист... Значит, он не тронет и верующих в Яхве. Не трогали же немцы синагогу во время оккупации Прибалтики в 1918 г. Что же касается иудейской веры, то гонения на евреев способны лишь ее укрепить. Так было всегда...

В таком духе раввин Гоммер и читал проповеди своим взбужденным и растерянным прихожанам. Он намекал, что немцы — не так уж страшны, советовал не очень верить «крайностям» советской агитации, не верить сообщениям о фашистских зверствах, о массовом уничтожении евреев и поэтому не оставлять родной город, не эвакуироваться в глубь неведомой атеистической России...

Перед самым приходом немцев простой рабочий человек Перец Гольдштейн решил было уехать, но к нему прямо от Гоммера явился бывший богач Тойб. «Что вы делаете! — воскликнул он. — Немцы только нацепят евреям на грудь могоендовид и все. Никого они не будут убивать. Так говорит сам раввин. Не верьте выдумкам коммунистов!»

Нет, глава таллинской синагоги не был злоумышленником. Он был просто обывателем в политике. Но его авторитет среди верующих евреев сделал его — пусть невольным — виновником гибели тысяч и тысяч людей... Он стал виновником и своей собственной смерти. Когда Таллинский горсовет выдал главе синагоги пропуск на выезд на восток, Гоммер пустил в глаза представителям безбожной власти «священную пыль». Он сослался на предписания Гемары для раввина — не оставлять своих прихожан, если их не меньше десяти...

Конечно, далеко не все таллинские евреи поверили раввину. Среди них было много людей, куда более мудрых и зрелых, чем тот, кто претендовал на роль их духовного наставника и учителя.

Эти люди взяли в руки оружие и вместе со всем советским народом грудью встали на защиту своей Родины, своей жизни и свободы! Те, кто эвакуировался в Сибирь и на Урал, помогали ковать победу в цехах заводов и фабрик.

Последние, кого они видели, оставляя Таллин, на улицах которого уже гремели бои, были раввин Гоммер и его послушный шамес — служка в синагоге Циван; они ходили по улицам, заглядывали в дома, беседовали, уговаривали, утешали — впереди чернородый раввин, а за ним старый шамес, прихрамывающий, опирающийся на свою неразлучную трость...

Куда смотрел Яхве?

А через несколько дней тысячи людей, оставшихся в Таллине, с ужасом наблюдали иную картину: по улицам города с веревкой на шее, спотыкаясь и пошатываясь, шел раввин Гоммер. Его подгоняли гогочущие завоеватели в грязно-зеленых мундирах. Умоляя о пощаде, Гоммер говорил со своими палачами, как совсем недавно с образованными евреями Таллина, — по-немецки. Ему отвечали пинками. Никто не знает, какими были последние часы жизни раввина...

Гитлеровское отребье с первых же дней оккупации установило в Эстонии режим зверского организованного террора. В соответствии с приказом фюрера подлежали уничтожению все коммунисты, комиссары Советской Армии, просто прогрессивные люди, все евреи — безразлично верующие или неверующие, бедные или богатые. Среди первых жертв оказались семьи рабочих Гершановича, Гольдштейна и многих других и семьи бывших богачей — меховщика Тойба, комиссионера Герценберга, доктора Туха, маклера Гольдмана... Если Тойба повесили немцы, то Гольдштейн повесился сам. Жена его отравилась.

Над всеми недовольными устраивались зверские расправы в застенках гестапо и на улицах города. Каратели проводили массовые расстрелы рабочих и служащих, партизан и военнопленных. Жестоко и беспощадно надругались они и над чувствами тех, кто продолжал верить в Бога. Здание старой Таллинской синагоги на Тарту-Мантее фашисты превратили в конюшню. Даже те, в чьих глазах раввин выполнял непосредственно волю Бога, поняли свою роковую ошибку. Но было поздно.

Так началось хозяйничанье гитлеровцев в Эстонии.

Мы уже сказали, что обстоятельства гибели раввина Гомера остались неизвестными. Зато не так давно мы в подробностях узнали о страшной судьбе тысяч его прихожан, которых религиозная проповедь обрекла на неминуемую гибель.

...За ними охотились, как за дикими зверями. Их вылавливали поодиночке и группами, собирали десятками и сотнями, сгоняли в бараки, а потом отправляли по двум адресам: в Клоога и Нарву.

Клоога — живописное местечко в сорока километрах от эстонской столицы. По какой-то жестокой иронии судьбы «клог» по-еврейски означает «рыдание», «горе». Именно здесь гитлеровцы создали лагерь смерти. Сюда они сгоняли еврейское население со всех концов Эстонии.

Порядки в Клоога ничем не отличались от режима Освенцима и Майданека. Колючая проволока, по которой проходил ток высокого напряжения, окружала лагерь обреченных. Все заключенные, вопреки человеческой логике, вынуждены были выполнять бессмысленную работу — сегодня перетаскивали с места на место каменные глыбы, завтра тащили их обратно. Фюрер не нуждался в их труде! Эту издевательскую работу, которую Библия считает проклятием за грехи, узники выполняли ежедневно с четырех с четвертью утра до глубокой ночи. На людях дрессировали овчарок. Ослабевших ежедневно отбирали и сжигали на кострах — это единственное, чем Клоога отличалась от Освенцима: «цивилизованных» крематориев здесь не заводили... В лагере потеряли практическое значение все 365 запрещений и 248 повелений, которые иудейская религия налагает на каждого верующего...

В Нарве было не лучше. Пленники жили в конюшнях. Заключенных — мужчин, женщин, стариков — с раннего утра выгоняли на берег реки и заставляли строить оборонительные сооружения. Один раз в день выдавали похлебку. Детей на глазах у родителей травили собаками. Многие, не выдержав, бросались с обрыва в бурную Нарву. Их догоняли автоматные очереди охранников. Полуживых людей сжигали в печах знаменитой Кренгольмской мануфактуры...

Когда в 1944 г. советские войска ворвались в Клоога и Нарву, живых в лагерях не было. В Клоога у барачков с надписью

«Verboten» – «Запрещено» – бойцы увидели горящие бревна, а на них – тлеющие трупы. Оpoznать здесь кого бы то ни было оказалось невозможным...

История трагической гибели прихожан Гоммера, возможно, осталась бы неизвестной миру, если бы не одно обстоятельство.

Улика

Вскоре после войны в одном из таллинских гаражей появился новый сторож. Он был хром и никогда не расставался с тростью.

Однажды сторож с тростью попался на глаза кантору старой синагоги, хорошо знавшему и раввина Гоммера, и шамеса Цивана. Трость сторожа показалась ему знакомой...

Свои мысли кантор предпочел поведать не Богу, а прокурору. Сторож был арестован. Он не стал долго запираяться. Он оказался бывшим надзирателем лагеря в Клоога Сеппом.

Сепп был верующим лютеранином. Это не мешало ему убивать в лагере всех без разбора – евреев и русских, эстонцев и латышей. Сепп был не чужд суеверий. Поэтому, отправляя в костер труп шамеса Цивана, он решил сохранить у себя его трость как талисман.

После разгрома гитлеровцев Сепп и его супруга по-своему использовали библейские сказки о загробной жизни. В день вступления Советской Армии в Таллин жена Сеппа подобрала первый попавшийся труп мужчины и, выдав покойника за мужа, похоронила его скромно, без почестей, не открыв ни разу крышку гроба. Обзаведшись подложными документами, Сепп начал вторую, «загробную» жизнь хромого таллинского сторожа...

Но чудеса не могут тянуться слишком долго. Трость шамеса, эта палочка-выручалочка, не помогла палачу. На его руках было слишком много крови. Без всяких чудес и святой воды Сепп мгновенно избавился от хромоты – это произошло в кабинете следователя. Бывший надзиратель не только рассказал о всех своих злодеяниях, но и сообщил, что его прежние начальники процветают под крылышком генерала Гелена, шефа разведки христианского канцлера Аденауэра.

Сеппу недолго пришлось ходить по земле, не хромя. А немой свидетель его преступлений — трость шамеса — оказалась среди других вещественных доказательств фашистских зверств в Эстонии.

Никогда не изгладятся из памяти людей преступления фашистских захватчиков, обрекших на гибель миллионы русских, украинцев, белорусов, евреев, французов, поляков. И сегодня, когда во многих странах капиталистического Запада вновь расползается тень фашизма, когда паучья свастика, начертанная кровавыми руками реваншистов, появляется на стенах церквей, синагог, общественных зданий, пусть память о погибших братьях и сестрах, отцах и матерях еще раз призовет людей к бдительности.

Совсем недавно раввин западноберлинской синагоги Гольдштейн дал интервью профашистской газетке «Дейтше зольдате цайтунг», в котором заявил, что гитлеровцы «не уничтожили евреев европейских стран, они их направили на особые работы». Даже Аденауэр не отрицает уничтожения шести миллионов евреев гитлеровцами, а иудейский раввин Гольдштейн отрицает. Разве можно без чувства отвращения читать сообщения о трогательной дружбе Аденауэра и Бен-Гуриона, о том, что между двумя государствами, представленными этими «религиозными деятелями», заключен договор, согласно которому Израиль обязуется продавать оружие ФРГ, другими словами, вооружать новые полчища фашистских убийц. По существу правительство Израиля вступило в союз с теми, кто стремится обелить, реабилитировать кровавый гитлеровский режим и заново возродить фашистские порядки.

Нет, нельзя забывать уроков истории. Нельзя судить одной рукой гитлеровского палача Эйхмана, а другую протягивать его сообщникам. Как подчеркивал глава советского правительства Н.С. Хрущев, — нельзя забывать, что «фашистские антисемитские выступления в городах Западной Германии — это характерный признак усиления реакции». Фашизм стоил людям миллионов и миллионов жертв. И нужны огромные усилия всех честных людей мира, чтобы предотвратить новую трагедию, связанную с возрождением фашизма.

ЧТО СТОИТ ЗА УВОЛЬНЕНИЕМ ПОДГОРНОГО⁴

Особое мнение

Вывод Николая Подгорного из состава Политбюро — важный индикатор состояния политического климата как внутри страны, так и в советско-американских отношениях, сигнал того, что после очередных «заморозков», можно ожидать нового потепления.

Тесное сотрудничество Подгорного и Брежнева началось еще в сороковых годах в Украине, где оба занимали высокие партийные посты, и продолжалось вплоть до шестидесятых, когда сообща они добивались смещения Хрущева. К тому моменту Подгорный все еще оставался убежденным сторонником Брежнева. Вместе они пришли к власти и только вместе могли ее удержать в борьбе с другими политическими группировками.

Однако в конце шестидесятых, когда Брежнев значительно укрепил свою власть, их отношения ухудшились. Тогда же кардинально разошлись и их идеологические воззрения. По советским меркам Подгорный становился все более консервативен, Брежнев — все более либерален. К 1972 г. критические высказывания Подгорного в адрес Брежнева стали особенно резки. Они касались и личных качеств Генсека, но, главным образом, его позиции в отношении политики детанта с США и странами Западной Европы.

Одна из причин, вызвавшая пробуксовку детанта, связана с попытками СССР привлечь Кубу к участию в ангольских событиях. Ключевую роль в этом сыграл Подгорный. Каждый из членов Политбюро «курирует» международную политику и внешнеэкономические связи СССР в том или ином мировом регионе. Африка находилась в ведении Подгорного. В 1975 г. именно ему предстояло вести переговоры с Кубой по ангольскому вопросу. Брежнев, конечно, хотел, чтобы всю грязную работу в Анголе сделали кубинцы — он прекрасно сознавал, чем обернется для детанта прямое военное вторжение СССР в Аф-

⁴ Статья была опубликована в газете *Christian Science Monitor* от 13 июня 1977 в рубрике «Взгляды и комментарии».

рику. Исходя именно из этой позиции, Подгорному и было поручено вести переговоры с кубинской стороной.

По-видимому, вопрос о возможности советского вторжения в страны третьего мира на африканском континенте был в очередной раз поднят в апреле, приведя, в конечном итоге, к ниспровержению Подгорного. Во время своего мартовского визита в Африку он подготавливал почву для советского участия в борьбе народных движений чернокожих в таких странах, как Родезия и Южная Африка, за свержение их белых правительств. Но использовать для этой цели кубинцев больше не мог, поскольку президент Картер активно поработал над улучшением связей с Кубой (снятие ограничений на передвижения, визиты на Кубу американских делегаций и т.д.). Кастро прекрасно понимает, что отправка кубинских войск в Африку для помощи русским нанесет серьезный удар по быстро налаживающимся американско-кубинским отношениям. Поэтому Подгорный намеревался направить в Африку советских военных специалистов, против чего Брежнев неоднократно возражал.

Конечно, Москва хотела бы оказать помощь чернокожим Африки в их борьбе за национальную независимость, но за отправку туда советских добровольцев Брежневу пришлось бы заплатить слишком высокую цену в советско-американских отношениях. Правозащитная политика Картера последних нескольких месяцев направлена на то, чтобы добиваться передачи власти народным движениям Африки мирным, а не вооруженным путем; американские идеалы равенства и соблюдения прав человека скорее придутся по вкусу африканским лидерам, нежели угроза тоталитаризма, хорошо различимая за предложениями советской военной помощи; защита гражданских прав чернокожих в Америке стала прекрасным пропагандистским ходом; постоянный представитель США в ООН Эндрю Янг, будучи сам чернокожим, имеет огромное преимущество на прямых переговорах с африканскими лидерами.

Учитывая все это, прямое советское военное вторжение, предложенное Подгорным, могло быть чревато катастрофическими последствиями для брежневской политики детанта, которая и раньше находилась под постоянным огнем консерваторов, а с приходом к власти новой администрации Картера еще больше усилила их борьбу с либералами в Политбюро.

Оценивая события последних месяцев, можно заключить, что, устранив Подгорного, Брежнев не только избавился от своего соперника и оппонента, не разделявшего его взгляды на детант, но сделал очередную косвенную уступку в угоду советско-американским отношениям. В последние месяцы, после январской череды обвинений в адрес друг друга, США и СССР перешли к политике едва заметных, но продолжающихся взаимных уступок: низкие штрафы за нарушения, допускаемые советскими рыболовецкими траулерами; разрешение советских властей на ввоз в СССР русскоязычных изданий Ветхого и Нового Заветов; освобождение одних диссидентов (Михаил Штерн), несмотря на арест других (Анатолий Щаранский); намеки на возможность достижения соглашения об ограничении вооружений и частичный запрет на проведение ядерных испытаний; отказ Картера публично отвечать на второе письмо советского диссидента Андрея Сахарова, и т.д.

Администрации Картера было известно как о поездке Подгорного в Африку, так и о цели его визита. Отстраняя Подгорного от власти, Брежнев очередной раз подтверждает свою приверженность политике детанта, которую до этого продемонстрировал, отказавшись от прямого военного вторжения СССР в Африку и открыв путь мирным переговорам.

Предположения американской прессы о том, что устранение Подгорного произошло в связи с изменениями в новой Конституции, кажутся мне маловероятными. Конституция разрабатывалась при непосредственном участии Подгорного и не содержит никаких радикальных изменений.

Помимо личных и политических разногласий с Брежневым, у Подгорного не оказалось политической базы, которая смогла бы противостоять увольнению. Многие западные обозреватели ошибочно полагают, что пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР (фактически, президента) — должность исключительно представительская. На самом деле советский «президент» должен не только представлять СССР на встречах с иностранными делегациями, но также готовить отчеты об этих встречах и предложения для Политбюро по дальнейшему развитию международной политики. При этом реальной политической базы у него действительно нет. Из-за реакционных взглядов Подгорного никто из грамотных политических

экспертов не пожелал работать в его аппарате. Военное ведомство не находится в прямом подчинении у президента. На поддержку КГБ ему тоже рассчитывать не приходится, поскольку глава КГБ Юрий Андропов — близкий союзник Брежнева. И хотя некоторые члены Политбюро разделяют реакционные (а по мнению некоторых, близкие к сталинистским) взгляды Подгорного, этой группе не хватает влияния, чтобы спасти его от увольнения или как-либо воздействовать на ситуацию.

Таким образом, отставка Подгорного дает основания предполагать, что позиция Брежнева еще более укрепилась, что политика детанта устояла, несмотря на многочисленные попытки ее свернуть, и хотя советские военные советники, скорее всего, будут продолжать оказывать помощь народным движениям в странах Африки, следует ожидать общего снижения активности СССР в этом регионе, по крайней мере, до начала переговоров по ОСВ-2, запланированных на октябрь.

ДЕТАНТ: БОРЬБА ВНУТРИ КРЕМЛЯ⁵

Свидетельства бывшего инсайдера

Каковы бы ни были успехи и неудачи политики президента Картера в отношении Советского Союза, одно несомненно: его действия вызывают серьезнейшее беспокойство у советского руководства.

Причины этого беспокойства восходят к истокам детанта, начавшегося в конце 1960—начале 1970-х гг. Хотя слово «детант» давно стало частью политического лексикона обеих стран, Москва и Вашингтон всегда понимали его по-разному.

Разрабатывая доктрину детанта, в Советском Союзе стремились к тому, чтобы договориться об ограниченном разоружении и начать обмен в академической, научной, культурной и коммерческой областях, возможно (и даже желательно) без проведения социальных реформ или расширения свобод советских граждан.

Предположение, что расширение контактов с Западом приведет к более активному проникновению западных идей в Россию, вызывали серьезные опасения у советских вождей. Некоторые советские либералы, к числу которых принадлежал и я, полагали, что детант может сопровождаться поэтапными реформами внутри страны. Однако мы были в меньшинстве. В начале 1971 г. Георгий Арбатов — главный советский теоретик детанта и директор Института США и Канады в Москве — подверг критике нашу либеральную позицию в поддержку детанта, назвав ее «экстремистскими идеалами».

Арбатов не терпел тех, кто ратовал за поэтапную демократизацию советского общества изнутри. Он был уверен, что детант неизбежно приведет к усилению новых западных веяний в России и, рано или поздно, принесет в Советский Союз многие достижения западной демократии, включая свободу. Арбатов не возражал, если под давлением Запада в СССР будут происхо-

⁵ Статья была опубликована в газете *Washington Post* от 10 июля 1977 г. в рубрике «Точка зрения»

дить какие-то перемены, но, как и многие его соотечественники, опасался, что односторонние реформы изнутри могут повлечь за собой неуправляемые процессы, грозящие проведением поспешных и более болезненных реформ. По сути позиция Арбатова сводилась к тому, что это иностранцы должны вынудить советское общество к реформам, которые бы его не разрушили.

Внутренние споры по вопросу детанта в Москве свидетельствуют о том, как смутно представляло себе советское руководство намерения американцев. За те годы, что я входил в состав советников высшего эшелона советских руководителей, мне довелось слышать три различных версии того, почему Америка заинтересована в детанте.

Согласно первой версии, США стремились обострить советско-китайский конфликт, доведя его чуть ли не до военного столкновения. Согласно второй, американцы надеялись подорвать основы советской системы, рассчитывая на глубокие социальные изменения и либерализацию общества под влиянием западных идей. Согласно третьей, Америка действительно хотела уменьшить ядерную угрозу для человечества без всяких целей, связанных с советско-китайским конфликтом или либерализацией СССР.

Большинство советских экспертов и заинтересованных ведомств приняли за основу гибрид из первых двух версий. В том, что США хотят обострить советско-китайский конфликт и добиться либерализации советского общества, были убеждены многочисленные старые аппаратчики сталинской закалки в партии и Центральном Комитете, в органах внутренней службы КГБ, в Министерстве обороны, на военных предприятиях и в высшем командном составе подразделений, дислоцированных вдоль границы с Китаем, Монголией и Афганистаном.

Эта группа не только не одобряла контроль над гонкой вооружений, но в свете советско-китайского конфликта и своей непоколебимой уверенности в том, что Америка намерена этот конфликт разжечь, ратовала за увеличение военных расходов. В 1968–1969 гг. советский военно-промышленный комплекс разрабатывал план превентивной войны с Китаем, от которого советское руководство отказалось лишь в 1969 г.

К версии о том, что с помощью детанта Запад намерен либерализовать советскую систему, склонялись иностранные (или

внешние) ведомства КГБ, Министерство иностранных дел, Генеральный штаб и многие специалисты, работавшие в Центральном Комитете.

Те, кто полагал, что Америкой движет одно лишь стремление уменьшить опасность развязывания ядерной войны, были в явном меньшинстве и принадлежали к двум диаметрально противоположным лагерям.

С одной стороны, это были люди из числа так называемой творческой интеллигенции. Представителем их идей стал А.Д. Сахаров — ядерный физик, присоединившийся к диссидентскому движению. В этом лагере полагали, что истинная разрядка напряженности и контроль за вооружениями возможны лишь при условии реальной демократизации советского общества, и поэтому считали необходимым добиваться и того, и другого одновременно.

Другая группа, не видевшая опасности в намерениях американцев, принадлежала к политическому истеблишменту и состояла из самого Брежнева, небольшой группы его соратников по Политбюро и политических консультантов. В «брежневской» группе считали, что СССР может пойти на незначительные сокращения стратегического оружия и запрет на ядерные испытания в атмосфере без ущерба для безопасности страны. (Доктрина советского детанта была разработана в 1969 г. и допускала сокращение исключительно стратегического оружия, ибо обычное могло понадобиться в случае войны с Китаем.)

Брежнев и его сторонники также считали, что благодаря детанту СССР сможет получить от Запада экономическую помощь и технологии, которые помогут в преодолении серьезного экономического кризиса, вызванного не в последнюю очередь затратами на гонку вооружений. Им казалось, что советские власти будут в состоянии нейтрализовать любое западное влияние, которое принесет с собой детант.

Таким образом, у Брежнева сложилось твердое убеждение, что для Советского Союза плюсы детанта, несомненно, перевешивают возможные минусы.

Но действительность нередко обманчива. Россиянин, уехавший из страны в 1968 г. и вернувшийся в 1976 г., обнаружил бы, что детант и участвовавшие контакты с иностранцами и западными идеями привели к значительным переменам. Свидетель-

ство тому можно найти в секретных и по сию пору не обнародованных социологических исследованиях, к которым я имел доступ в своей работе:

1. В 1966 г. только 2,4–4,2 процента москвичей с высшим образованием регулярно слушали западные русскоязычные радиопередачи; к началу 1976 г. (три года спустя после того, как глушение, по большей части, было прекращено) — 40–50 процентов образованного населения регулярно слушало радиопередачи «Голоса Америки», «Би-Би-Си» и других западных радиостанций. Десять лет назад люди спешили попасть домой к шести вечера, чтобы не пропустить начало трансляции футбольного матча; сегодня они торопятся поужинать до восьми, чтобы послушать передачу «Панорама» по «Голосу Америки».

2. Программы по обмену оказали огромное влияние на советскую академическую и культурную жизнь. В Москве и Ленинграде советские профессора могли свободно встречаться со своими западными коллегами, обмениваться научной литературой на иностранных языках и приглашать иностранцев домой, не опасаясь репрессий.

3. Написанная по-русски и изданная на западе диссидентская литература попадает в Россию уже отнюдь не в единичных экземплярах и находит самое широкое распространение. Экземпляры переходят из рук в руки: с одной копией романа диссидентского писателя Владимира Максимова «Семь дней творения» знакомятся от 500 до 700 человек — в буквальном смысле, зачитывают до дыр.

4. Из приблизительно 2,4 миллиона советских евреев более десяти процентов либо подали заявление на эмиграцию, либо уже покинули страну. В народе отношение к этому неоднозначное: с одной стороны, зависть к тем, кто имеет возможность уехать, с другой — негодование по поводу действия властей, препятствующих выезду остальных граждан.

5. Совместные стройки с участием советских и западных фирм и рабочих (вроде автозавода в Тольятти, построенного

итальянской фирмой «Фиат») оказали значительное влияние на восприятие Запада советским населением. Общее мнение в отношении подобных проектов сродни скептическому настрою московской интеллигенции.

Советские рабочие быстро замечают разницу между их собственной убогой техникой и условиями труда, прекрасным оборудованием и высокой производительностью западных рабочих. Опросы показали, что патриотически настроенная молодежь, откликнувшаяся на призыв участвовать в «героической стройке» в Тольятти, уже через 3–6 месяцев начинает высказывать недовольство низкой заработной платой и плохой организацией труда по сравнению с условиями труда итальянских строителей, работающих на соседней строительной площадке.

6. Возросший доступ к иностранным товарам позволяет сравнивать их с товарами отечественного производства. Сравнение явно не в пользу последних: девять из десяти потребителей предпочитают импортные товары.

7. То, что Западу удастся добиться от СССР высылки знаменитых диссидентов (таких, как Александр Солженицын и Владимир Буковский), подрывает веру в нравственные устои властей. Образованное население все чаще видит в подобных сделках своего рода «товарообмен», где в качестве «товара» выступают живые люди.

Трещины в монолите

Необходимость сочетать сотрудничество с Западом и меры по нейтрализации последствий этого сотрудничества привела к тому, что советский монолит начал давать трещины.

Историк Ключевский еще в XIX веке подметил, что в России межпартийная борьба всегда подменялась противоборством различных ведомств. Это верно и сегодня, но с одной оговоркой. Детант и реакция на него советского руководства возродили борьбу как между ведомствами, так и внутри них.

К примеру, взгляды на детант во внутренней службе КГБ, осуществляющей надзор за советскими гражданами и их контактами с иностранцами внутри страны, в корне отличались от

позиции министерства иностранных дел и иностранных отделов КГБ, отвечающих за сбор разведанных за границей.

Поддержка детанта последними диктуется профессиональными интересами. В этих ведомствах реалии западной жизни знают не понаслышке, и сотрудникам с каждым днем все труднее себя обманывать. Детант выгоден им и с материальной точки зрения, поскольку ослабление напряженности повысит частоту контактов советских граждан с Западом. А это означает увеличение заграничных командировок для работников ведомства и открытие новых отделений за рубежом.

Оплата труда советских чиновников, работающих за рубежом, осуществляется в валюте. Для них не существует запретных фильмов, спектаклей и книг. Значительную часть зарплаты они откладывают в рублевом эквиваленте, чтобы помочь родственникам на Родине.

А вот сотрудникам внутренних отделов КГБ запрещено выезжать за границу, у них нет никаких материальных привилегий, а потому и никакой личной заинтересованности в детанте.

Еще один немаловажный фактор: впервые за последние сорок лет в России появилась «оппозиция». Она неоднородна по своему составу, но отдельные группы, входящие в нее, хорошо организованы. К ним следует отнести религиозные и национальные группы, либеральных марксистов, радикальные демократические объединения и др. Подготовка и распространение подпольных рукописей, антологий и рукописных изданий за последние десять лет приобрели заметный размах.

Проблемы Брежнева

Изменения в советском обществе, происшедшие благодаря детанту, оказались более значительными, чем предполагали в брежневском руководстве, и вызвали ожесточенные споры по поводу дальнейшей внутренней политики.

Придя к власти в 1964 г., Брежнев и его соратники повели реакционную политику, отменив социальные, политические и экономические реформы, начатые Хрущевым. Брежнев позволил даже частично возродить авторитет Сталина, подорванный действиями Хрущева. По-видимому, Брежнев полагал, что, добившись восстановления порядка и дисциплины по образцу

Сталина, он автоматически восстановит и престиж советского правительства на международной арене.

Реакционным был их подход и к положению в экономике: брежневское руководство решило полностью отказаться от идеи децентрализации гигантской и неповоротливой системы. Новые вожди не были готовы согласиться с мнением многих неофициальных экспертов, видевших главную причину советских экономических проблем именно в излишней централизации. Она вела к отсутствию инициативы на местах, потере заинтересованности рабочих, некачественной продукции и т.д.

Чтобы поправить дела в экономике, премьер-министр Алексей Косыгин и еще несколько человек в руководстве выступали за внутренние реформы (особенно, за децентрализацию). Однако Брежнев повел Политбюро в противоположном направлении. Именно решение Политбюро об отмене косыгинских реформ стало одной из основных причин, побудивших Брежнева поддержать идею детанта.

Объяснить это легко: Брежнев и его сторонники сочли, что экономический кризис легче преодолеть, получив помощь от Запада (в виде кредитов и технологий), чем путем внутренних реформ. Реформы — дело слишком рискованное.

Иными словами, Брежнев и его единомышленники полагали, что сделка с Западом позволит им сохранить устоявшуюся экономическую модель в неприкосновенности. Поэтому советская доктрина детанта заключала в себе как мирную цель (оживление торговли и сотрудничества между Востоком и Западом), так и военную угрозу (благодаря западной помощи СССР сможет сохранить прежний высокий уровень расходов на вооружение).

Советские экономисты, имеющие доступ к засекреченной статистике, видят главную причину бед советской экономики в том, что 60 процентов промышленных предприятий СССР работают на вооруженные силы. Это приводит к возникновению острого дефицита товаров народного потребления и массовому обнищанию населения.

Если бы кредиты и статус наибольшего благоприятствования в торговле были выданы при существующей в СССР экономической модели, советское руководство получило бы источник для поддержания и расширения затрат на вооружение.

Но вышло так, что Брежнев просчитался. Он делал ставку на многократно повторенные заверения Киссинджера о том, что улучшение советско-американских отношений укрепит позицию Никсона и поможет ему провести в Конгрессе законопроект о предоставлении кредитов и статуса наибольшего благоприятствования в торговле для СССР. Из официальной расшифровки частных переговоров Брежнева и Киссинджера видно, что Киссинджер несколько раз заверял Брежнева в том, что Никсон — надежный партнер и умеет держать данное слово.

Однако Брежнев ошибся не в том, что поверил заверениям Киссинджера и Никсона, а в том, что рассчитывал получить от Америки торговые привилегии, несмотря на свою реакционную внутреннюю политику.

Руководители СССР и их советники никогда до конца не понимали психологии американского политического мышления. Я помню, как всего за несколько дней до отставки Никсона главный советник Брежнева по международной политике А. Александров-Агентов уверял нас, что уотергейтские неприятности ничем серьезным Никсону не грозят. Брежнев и его соратники были также уверены в том, что даже если Конгресс одобрит поправку Джексона, лишавшую СССР кредитов и статуса наибольшего благоприятствования в торговле до тех пор, пока выезд из страны эмигрантов не станет более свободным, это не повлияет на достигнутые договоренности.

Вопрос об эмиграции на переговорах с Брежневым Киссинджер впрямую не ставил. Он говорил о предоставлении СССР кредитов и торговых привилегий в качестве компенсации за «утечку мозгов» (то есть за отъезд образованных евреев в Израиль) или аванса за взаимное доверие. При очевидной объективности этой формулировки Москва сочла ее абсолютно приемлемой.

Но Джексон затеял торг, конкретизировав условия: кредиты в обмен на строго определенное количество евреев. В Москве это восприняли как грубое оскорбление, причем не только в стане реакционно настроенных консерваторов, но и среди либералов, поддерживавших детант. Как сказал Александр Шелепин, лидер оппозиции Брежневу в Политбюро в 1974–1975 гг., принять условия Джексона значит подписаться под тем, что Советский Союз торгует живыми людьми, а это недопустимо и оскорбительно.

Политический вирус

По сути, голосуя за поправку Джексона, близорукие политики в Вашингтоне, сами того не сознавая, подыграли реакционерам в Москве, предоставив им прекрасный повод сплотиться и разгромить сподвижников Брежнева.

По меткому замечанию Картера, не всякий чих советского руководителя заслуживает того, чтобы на него реагировать. Однако крайне важно понимать, что явилось причиной «болезни», поразившей Брежнева в декабре 1974 г. и продлившейся до апреля 1975 г. Отчасти эта болезнь была следствием начавшегося физического недомогания, отчасти — политическим вирусом.

Утверждение поправки Джексона в Конгрессе и негодование, вызванное публикацией письма Киссинджера сенатору Джексону (в котором Госсекретарь от лица России заверял, что число евреев, которым будет позволено эмигрировать, увеличится) подорвали не только политические позиции Брежнева, но и его здоровье. Он отбыл на свою роскошную дачу в Завидово в пригороде Москвы и дал понять своим товарищам по Политбюро, что если они сочтут целесообразным сменить его на посту главы государства, он незамедлительно подаст в отставку.

Шелепин не замедлил воспользоваться этим шансом. Бывший глава КГБ попытался убедить коллег, что брежневский детант провалился и пора выработать новый курс.

Шелепин полагал, что лучший способ заявить миру о начале новой советской политики — это отправить «добровольцев» в Анголу по схеме, разработанной сорок лет назад во время гражданской войны в Испании, когда СССР оказывал помощь республиканцам.

Брежнев, не выезжая с дачи, попытался нанести Шелепину ответный удар. Скорее всего, по подсказке одного из советников, он предложил более компромиссный вариант: использовать кубинские войска в Анголе.

В конечном счете, Брежнев и его компромиссный вариант возобладали. Политбюро приняло предложение по Анголе, и 16 апреля в прессе было объявлено, что Шелепин уходит с занимаемых им постов. Вскоре после этого Брежнев полностью избавился от своего «вируса» и вернулся к исполнению возложенных на него обязанностей.

Таким образом, настоящим ответом на поправку Джексона стало не столько постановление советского правительства о выходе из торгового соглашения 1972 г., принятое сразу после прохождения поправки в Конгрессе, сколько авантюра в Анголе.

В Москве советская реакция на поправку Джексона была воспринята как первый кризис детанта. Он выразился в том, что, во-первых, надежды на серьезную экономическую помощь Запада и на распространение в СССР западных идей окончательно рухнули, а во-вторых, борьба между «ястребами» и «голубями» в советском руководстве значительно обострилась.

Похоже, что второй кризис детанта в СССР произошел в начале этого года. На мой взгляд, он был вызван тем, что Картер, желая продемонстрировать свою бескомпромиссность в вопросе о правах человека, допустил несколько серьезных просчетов.

Решение Картера послать письмо Андрею Сахарову через американское посольство и затем лично встретиться с диссидентом Буковским было воспринято советским руководством сквозь призму стереотипов коммунистической идеологии и исторических традиций советской революции. Иначе говоря, как угроза.

Брежнев и его окружение могли решить, что Картер действует так же, как в начале двадцатых годов действовал Ленин. Пытаясь разжечь мировую революцию, он обращался к рядовым членам оппозиционных движений в разных странах через головы лидеров этих движений.

Брежнев и его соратники могли увидеть в Картере большевика ленинского типа, с той только разницей, что вместо экспорта революции Картер пытается навязать миру (в том числе и России) американскую систему ценностей.

Если политику Никсона—Форда—Киссинджера советские руководители считали оборонительной и ничем не угрожающей их режиму, то политику картеровской администрации, спровоцированную советской авантюрой в Анголе, они, очевидно, восприняли как отказ от достигнутых ранее договоренностей по детанту.

Стремление Картера заострить проблему нарушений прав человека московские политологи поставили в один ряд с поправкой Джексона. Они сочли, что обе инициативы, в конечном итоге, нацелены на либерализацию СССР. В результате

Картер сыграл на руку тем группировкам, которые с самого начала подозревали Америку в стремлении использовать детант, чтобы вынудить СССР к либерализации.

Все указывает на то, что противоборствующие группировки в верхах объединились в новую коалицию на базе новой, более реакционной политики. Иначе не объяснить активно начавшуюся борьбу по искоренению «негативных последствий» западного влияния.

Об этой борьбе свидетельствуют возобновившееся (хотя и не в такой степени, как раньше) глушение западных радиостанций, конфискация диссидентской литературы, сокращение эмиграции, участвовавшие случаи ущемления прав западных студентов, находящихся в СССР по обмену, и новые меры, затрудняющие контакт западных журналистов с советскими гражданами. Публичные обвинения диссидентов в связях с ЦРУ также делаются с целью возродить в стране атмосферу всеобщего страха.

Назад к реакции

В итоге Брежнев оказался в политическом тупике. Он рассчитывал, что детант поможет ему укрепить авторитет советского режима на международной арене и улучшить экономическую ситуацию внутри страны.

Теперь ему предстоит выбрать один из двух возможных путей выхода из тупика. Либо публично признать провал идеи детанта и усилить репрессии, что рано или поздно приведет к его смещению с занимаемого поста руками умеренных центристов. Либо согласиться с новым пониманием детанта американской администрацией, которая готова оказывать экономическую помощь лишь при условии большей либерализации СССР.

Увы, большинство членов нынешнего Политбюро на решительные шаги неспособно. Те немногие члены Политбюро, что ратуют хотя бы за ограниченные реформы, в силу своего возраста едва ли дождутся проведения их в жизнь. Из 14 членов Политбюро девятерым перевалило за семьдесят, троем больше шестидесяти пяти, и только двое моложе шестидесяти.

Стареющие члены Политбюро предпочитают сохранять статус кво, а не заниматься реформами. Они рассчитывали, что

детант поможет им предотвратить качку на корабле, но шторм разыгрался нешуточный. Теперь им кажется, что спасти их может только реакционная политика, и они пытаются задушить свое собственное детище — детант.

Эта реакционная политика привела к аванюре в Анголе и к задержке с подписанием договора ОСВ-2. Если американское правительство не смягчит риторику президента Картера в вопросе о правах человека, советское руководство может занять еще более реакционную позицию.

Ирония, однако, состоит в том, что реакционная политика ни в какой мере не разрешит существующих в СССР проблем. Неэффективность советского управления и незавидное положение дел в экономике рано или поздно вынудит советских руководителей (нынешних или тех, кто придет им на смену) искать пути для ограничения гонки вооружений и военных расходов независимо от того, хотят они этого или нет.



Фото из журнала *New York Times Magazine*
6 ноября 1977 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А.И. БРЕЖНЕВУ⁶

Автор письма – самый высокопоставленный советский чиновник, когда-либо получавший официальное разрешение на эмиграцию из СССР. Как ученый секретарь секции общественных наук в Президиуме Академии наук и советник члена Центрального Комитета КПСС он входил в политическую среду, окружавшую Генерального секретаря партии Леонида Ильича Брежнева. В публикуемом письме автор обращается к своему бывшему шефу, предупреждая о том, что считает потенциально бедственным курс Брежнева во внутренней и внешней политике.

Уважаемый Леонид Ильич!

Очень рад возможности обратиться к Вам из своего американского далека. В годы работы в Москве на Вас и Ваших коллег я не раз думал об этом письме, но понимал, что сквозь партийные фильтры оно до адресата не дойдет, да и никто в советских условиях опубликовать его не решится. После отъезда из России для меня стало очевидным, что из Нью-Йорка путь к Вам может оказаться короче, чем из Москвы.

Пишу не для того, чтобы излить злобу или свести счеты, хотя именно Ваши убеждения, идущие вразрез с моими, в итоге привели меня сюда, вынудили уехать из России – страны, которую продолжаю любить, в страну, где мне предстоит начать жизнь заново, с нуля, в сорокасемилетнем возрасте. Не жалею и о той скромной роли, которую мне выпало сыграть в Вашей

⁶ Письмо было опубликовано в журнале *New York Times Magazine* от 6 ноября 1977

деятельности: в Америке мало кто знает, какую скрытую тяжесть со своими оппонентами в высших эшелонах власти Вам пришлось выдержать, чтобы направить советскую политику по мирному пути. Нет, я обращаюсь к Вам открыто в надежде, что этот неожиданный призыв политического консультанта, к чьим советам Вы и Ваши сторонники некогда относились не без внимания, побудит Вас пересмотреть те взгляды, которых Вы придерживались в ходе своей работы и которые завели Вас в теперешний тупик.

Да и когда обращаться к Вам, если не сейчас, в канун шестидесятой годовщины Октябрьской революции – события, которое в нынешних обстоятельствах заслуживает не столько торжеств, сколько критического анализа?

Те, кто в Вашей (а до недавнего времени, и моей) стране поддерживает курс на разрядку, склонны возлагать ответственность за сегодняшние проблемы на Ваших предшественников. Но даже самый беглый взгляд на историю постреволюционной России заставляет усомниться в таком упрощенном подходе. Согласен, что российские руководители после 1917 г. оставляют желать лучшего. Сперва Ленин с его искренним, но дилетантским стремлением соединить несоединимое – социальное равенство и диктатуру. Затем закономерное перерастание его диктатуры в грубую сталинскую деспотию, превратившую все население страны в рабов и унесшую 13 миллионов жизней. Хрущев с его крестьянской расчетливостью подорвал фанатическую веру моих сограждан в ортодоксальный сталинизм, но, заварив всю эту кашу, предоставил расхлебывать ее Вам. Какой же выход Вы нашли из создавшейся ситуации?

Вы хотели восстановить порядок и дисциплину после хрущевской смеси разоблачений с реорганизациями, а добились того, что диссиденты стали множиться, как грибы после дождя. Вы хотели сохранить за своей партией роль флагамена международного коммунистического движения, а застряли где-то посередине между китайской ересью и проблемами еврокоммунизма. Вы хотели стабилизировать отношения с Западом и не допустить возвращения к сталинским беззакониям внутри страны, а на деле Ваш курс на разрядку терпит крах, и в стране под Вашим руководством наблюдается явный крен в сторону неосталинизма. Пользуясь ленинской фразеологией, которая хорошо Вам знакома, Россия при Вас сделала шаг вперед и два

шага назад. Судя же по фразе, которую Вы обронили на встрече с Жискарсом Дестеном в Париже о том, что Картер нарушает «правила игры», ни Вы, ни Ваши сторонники так и не сумели понять главного: изначально проблема заключается не в отношении нового американского президента к правам человека, а в Вашей концепции разрядки.

Оглянитесь назад, Леонид Ильич, вспомните 1965 год, когда Вы только приняли на себя руководство. Вспомните Алексея Румянцева. После Вашей с ним совместной работы в Украине много лет назад Вы считали его своим ставленником (несмотря на то, что он был членом Центрального Комитета с 1952 г.). Вы вернули его из Праги, где он был шеф-редактором журнала «Проблемы мира и социализма» — рупора мирового комдвижения, сделали его главным редактором «Правды» и своим политическим советником, доверенным лицом во всем, что касалось Ваших наиболее важных и щекотливых решений. Вскоре после этого я был назначен его помощником.

Тогда Вы не знали, что годы, проведенные Румянцевым в Чехословакии, открыли ему глаза на более гуманистическую модель социализма, совпавшую с его искренней верой в идеалы российских революционеров 1917 года. Вернувшись в Москву, он выступил в защиту нашей либерально настроенной интеллигенции — в частности, пытался помочь А. Твардовскому, А. Солженицыну и стал фактически неофициальным лидером борьбы за продолжение оттепели и экономические реформы. Я помогал ему, как мог. Он отнюдь не разделял принципов современного западноевропейского социализма в его французской и западногерманской модели, которых придерживался я (и которые, уверен, лучше всего подошли бы для России), и я никогда не пытался навязывать свои представления ни ему, ни кому-либо из Ваших соратников. Но мы оба были убеждены, что Россия давно созрела для либерализации по югославской или венгерской модели, и, как Вы, возможно, помните, многие тогда надеялись на продолжение реформ, начатых Хрущевым в пятидесятые, но свернутых им под давлением оппозиции в правительстве в начале шестидесятых. Именно желание внести свою скромную долю в грядущие изменения двигало мной, когда я писал проекты резолюций ЦК об опытах по материальному стимулированию промышленности и сельского хозяйства; докладные записки о разрядке, еврокоммунизме и китайском

вопросе; речи, с которыми выступали Вы, Косыгин и Подгорный; статьи, вышедшие в «Правде», «Известиях» и «Коммунисте» за подписью Румянцева; а также многое другое. Когда в 1967 г. Академия наук избрала Румянцева вице-президентом секции общественных наук и я стал ученым секретарем секции, объем моей работы удвоился.

Хорошо, что я не рассчитывал на благодарность: в отличие от аппаратчиков и высокопоставленных чинов Академии, меня ни разу не удостоили премии или дополнительным выходным днем, ни разу не сказали «спасибо». Фактически я выполнял две работы за одну зарплату. Но Ваше руководство «отблагодарило» меня иначе, позволив Румянцеву в 1968 г. создать Институт социологии. Долгое время я надеялся, что мне удастся содействовать утверждению одной из сфер моей профессиональной деятельности – политической истории и социологии – путем предоставления советским людям широкого доступа к реальной социологической информации (по примеру того, как это происходит в Соединенных Штатах). Новый институт, в котором мне было поручено руководство сектором экспериментальных исследований, был важным шагом в этом направлении.

Однако к тому моменту Вы уже дали обратный ход. Я полагал, что в либерализации внутри страны и прямом отказе от сталинизма Вы видите неотъемлемые предпосылки разрядки; Вы же предпочли встать на позицию тех, для кого либерализация была препятствием на пути к разрядке. Это положило начало глубокому расколу между внутренней и внешней политикой: правое крыло в партии решало одни задачи, а левое – совершенно другие. Именно приверженцы правого крыла настояли на проведении чистки в моем институте, лишили меня возможности печататься, вести честную исследовательскую работу, спокойно жить и, в конце концов, вынудили покинуть страну. Они же загнали Вас в Ваше нынешнее непростое положение.

Уверен, что Вы, Леонид Ильич, по характеру совсем неплохой человек. Вас не назовешь расистом или антисемитом. В отличие от многих своих коллег Вы не притворяетесь суровым аскетом. В то же время для человека с неограниченными возможностями Ваши желания достаточно скромны. За исключением роскошной дачи в Завидово под Москвой, где Вы проводите большую часть времени, и модных иномарок в га-

раже, богатство Вас особенно не прельщает. Да и к чему оно, если даже эта дача принадлежит партии и унаследовать ее Ваши дети не смогут. Несмотря на повышенное честолюбие, Вы по натуре флегматик и предпочитаете стабильность и «статус кво» смелым экспериментам. Вы редко выходите из себя или совершаете необдуманные поступки.

Возможно, Вы не из тех, кого называют «интеллектуалом», — Вам недосуг читать газеты и книги, а выдавшийся дома свободный вечер Вы предпочитаете проводить за просмотром популярных американских фильмов. Но зато у Вас есть дар располагать к себе людей, а тот факт, что Вы, как и Киссинджер, не упускаете случая отпустить шуточку о прекрасном поле, вселяет надежду на благополучный исход в наших отношениях с Западом. Мне нравилась Ваша способность ездить на встречу лидеров зарубежных компартий в аэропорт Шереметьево на собственном мотоцикле, хотя некоторые из Ваших коллег считали, что Вам это «по статусу» не положено. Я же, напротив, видел в этом свидетельство Вашей непосредственности — весьма редкого качества для руководителя такого ранга. Возникает вопрос: почему эти и другие положительные черты не помогли Вам правильно распорядиться тем политическим наследием, которое Вам досталось?

В сущности, Вы столкнулись с той же проблемой, что и Хрущев — проблемой Сталина. Хрущев в душе своей ненавидел Сталина, но в принципе остался одним из его учеников. Начав и не доведя до конца реформы, он вызвал раздражение как сталинистов, видевших в нем либерала, так и критиков Сталина, находивших его слишком консервативным. Вы тоже ведете себя перед образом Сталина как язычники перед своим божком. Вы поете ему хвалу за победу в войне, создание гигантской империи и распространение коммунистического влияния по всему миру. В Вашем кругу «зрелый человек» и «опытный работник» стали аппаратными эвфемизмами для обозначения единственного типа чиновников, у которых есть шанс выслужиться — подхалимов. Внутри Политбюро круг Ваших доверенных лиц в последнее время значительно сузился. Эта небольшая группа людей принимает все важнейшие решения в глубочайшем секрете. Функция остальных членов Политбюро сводится к их механическому утверждению.

Скажу откровенно, неэффективность Вашего управленческого аппарата поражает. Во-первых, эта сохранившаяся со времен Сталина атмосфера всеобщего недоверия и секретности. Никто в Америке не верит, что в Центральном Комитете Коммунистической партии Советского Союза не пользуются компьютерами или хотя бы копировальными установками. Помню, как Румянцеву приходилось спешно проглядывать засекреченные документы: по утрам посыльный из КГБ доставлял и передавал ему лично в руки запечатанный конверт, а уже вечером этот конверт надлежало вернуть обратно. К иным членам Центрального Комитета секретные материалы и вовсе не попадали. Затем вечные интриги среди подчиненных. Даже Ваши ближайшие помощники вынуждены придумывать, как обойти своих более ортодоксальных коллег, чтобы хоть чего-то добиться.

Последнее имеет непосредственное отношение к чистке, которую Вы провели в Политбюро, став Генеральным секретарем. Стремясь добиться «стабилизации» внутреннего положения, Вы решили избавиться как от «крайне левых», так и от «крайне правых». С Косыгиным Вас связывали дружеские отношения, но стоило ему настаивать на возобновлении экономических реформ, как Вы «придавили» его руками этого безмозглого чинуши — Президента Подгорного. Теперь и Подгорный попал в немилость, рискнув противоречить Вам в вопросе разрядки. Единственные грамотные политики, оставшиеся в Вашем окружении, — это прошедший огонь и воду Андрей Громыко и глава КГБ Юрий Андропов, чьи либеральные (в советском контексте) взгляды вызовут удивление у многих на Западе.

Показателен следующий факт: в результате этих перестановок у «левых» полетели головы с плеч, а «правых» только слегка пожурили. Либералов, вроде Румянцева и покойного Александра Твардовского, редактора журнала «Новый мир», выдворили на пенсию, в то время как неугодных «правых» «переместили» на менее заметные, но не менее влиятельные должности. Так, Владимир Ягодкин — главный идеолог московской партийной организации, который в 1974 г. пытался опубликовать статью, предупреждавшую о негативных последствиях разрядки, ныне занимает пост заместителя министра образования Российской Федерации СССР.

А как Вы обходитесь с лучшими из Ваших консультантов? Взять хотя бы пронизательного журналиста Александра Бовина, который первым заговорил о необходимости принятия политики разрядки. Вы видели в нем яркого и интересного собеседника и часто общались. Настолько сблизились, что не раз даже брали его с собой на охоту и отдых. Бовин неосмотрительно об этом рассказывал, что вызвало ревность в аппарате ЦК — ведь там недопустимы личные отношения среди сотрудников. Вам тут же было доложено, будто бы Бовин распространяет сплетни о Вашей частной жизни. Вы сочли необходимым его уволить. Печально, что Вы, глава государства, не можете позволить себе роскошь оставить при себе хотя бы одного приятного и полезного Вам сотрудника; что любой эксперт, каким бы знающим и незаменимым он ни был, может в одночасье попасть в немилость по навету партийных интриганов.

А Ваша политика по отношению к евреям на государственной службе? Тех евреев, которые придерживаются еще более правых политических взглядов, чем самые правые русские, при Вас стали назначать на самую грязную идеологическую работу. Чтобы получить сколько-нибудь приемлемое место в области идеологии или общественных наук и двигаться вверх по карьерной лестнице, еврей должен быть не только ортодоксальным марксистом-ленинцем, но и безнравственным негодяем. Я был единственным евреем в должности помощника авторитетного члена Центрального Комитета. Я видел, как мне следует себя вести, чтобы удержаться на этой должности. Для меня такое поведение было неприемлемо. И это еще одна причина, по которой я здесь.

Наконец, как, по-Вашему, должен чувствовать себя советский ученый (независимо от того, еврей он или нет), если должности в академическом мире раздаются выскочкам в награду за оказанные Вам политические услуги? Георгий Арбатов получил в награду назначение на пост директора Института США и Канады, а позднее и членство в Академии наук, хотя за всю жизнь не написал ни одной серьезной научной работы. Статьи за партийных функционеров с научными степенями пишут истинные ученые, чьих фамилий Вы не найдете под публикациями. Их идеи искажаются, «разбавляются» мнениями других экспертов, чтобы уже ни один из них не мог предъявить претензии на авторство. (Почему среди нынешних политических лидеров так

много малограмотных недоучек? По крайней мере, в двадцатые годы советские политики сами писали свои статьи.) Неужели Вы думаете, что в такой обстановке Ваши советники хотят поделиться с Вами своими сокровенными мыслями? Нет, конечно! Они высказывают лишь то, что, по их мнению, придется Вам по нраву. Они трактуют марксистско-ленинские формулировки то так, то эдак, держа нос по ветру, чтобы не прогневить Вас и некоторых из Ваших коллег.

Говорят, что рыба гниет с головы. Это в первую очередь относится к цинизму — заразной болезни, успевшей поразить широкие слои советского населения. Молодые люди еще верят в идеалы коммунизма, в официальные заявления о наличии в стране свободы слова и прессы и стараются подходить ко всему творчески. Но к двадцати годам они начинают понимать, что все их порывы будут встречены в штыки бюрократами — противниками любых перемен. Им становится ясно, что между тем, каким советский режим себя изображает, и тем, каким он в действительности является, — огромная пропасть.

Все увеличивающийся и все более очевидный разрыв между словом и делом — основная причина роста диссидентского движения в СССР. И я говорю не только о диссидентстве среди молодежи, в кругах писателей, поэтов и художников. Куда большую опасность для Вас представляет рост скрытого диссидентства на государственном уровне, у самой вершины пирамиды власти. Впервые за последние 40 лет в СССР существует довольно развитая оппозиция, к которой относятся либеральные марксисты и радикальные антикоммунисты, демократические, национальные и религиозные группировки; многие из них собираются полулегально, многие — открыто, у большинства есть свои закамуфлированные печатные органы. Конечно, Вы без труда можете отправить их всех в тюрьму, но тогда за решеткой окажется значительная часть научной и интеллектуальной элиты. Кто тогда будет поставлять передовые технологии и новые виды вооружений?

Еще одно следствие «всепроницающего двоемыслия», пропитавшего своим ядом политическую и общественную жизнь страны, — нравственное разложение тех, кто вынужден или искренне хочет служить системе. За исключением нескольких человек на самом верху, никто не знает, какие проблемы в действительности волнуют население, а выяснить это можно

лишь при помощи спиртного, которое, как известно, помогает преодолеть скованность и развязывает язык. В нашей стране пьют не для поднятия тонуса — водкой заливают либо угрызения совести, либо отчаяние, либо шизофреническую раздвоенность, вызванную тем, что гражданскую жизнь, полную показной праведности, необходимо сочетать с жизнью частной, в которой все далеко не так радужно.

Отсюда проистекает и конфликт с информацией, идущей с Запада: она обладает разрушительным действием для любых нагромождений советской лжи. Особенно если информация получена лично, в ходе зарубежных поездок. Впервые попав в США в 1968 г., я довольно быстро убедился, что окружавшие меня американские должностные лица, переводчики, студенты и профессора не только не являлись тщательно подготовленными агентами ЦРУ, но и сами таковых на дух не выносили. Теперь представьте себе мое состояние, когда во время ответного визита наших новых американских друзей я вынужден был согласиться с требованием КГБ и включить в группу соответствующего сопровождающего.

Сказанное о морали объясняется, в конечном итоге, Вашей собственной боязнью преодолеть в себе и в обществе инерцию сталинизма, — вот вывод, к которому я пришел постепенно. Помню, как на заседании рабочей группы, готовившей Ваше выступление на XXIV съезде партии в 1971 г., один из Ваших ведущих советников Александр-Агентов трижды спросил: «Следует ли включить в Вашу речь критику Сталина?» В конце концов, Вы не сдержались: «Хватит уже напоминать мне про Сталина и культ личности!» Еще бы! Вы ведь хотели вновь возвести поверженного кумира на пьедестал, создать новый культ по образу и подобию сталинского. Вам это было необходимо для укрепления своей власти. Затем нападкам подвергся «Новый мир», начались гонения на историков и социологов, разделявших идеи еврокоммунизма, выслали Солженицына. Это был второй этап. Начало третьего (в него мы вступаем сейчас) было отмечено наступлением на диссидентов, волной арестов, угрозами в адрес участников культурного обмена и т.д. И это в то время, когда Вам в первую очередь следовало бы заняться экономикой.

Путь к выходу из экономического кризиса для Советского Союза настолько очевиден (децентрализация громоздкого го-

сударственного аппарата и постепенное открытие других шлюзов), что иностранные наблюдатели недоумевают, почему Вы им не воспользуетесь. В 1965 г. Вы сделали робкую попытку реформ, которую свернули уже к 1969 г. Это объясняется не только «Пражской весной», но отчасти и тем, что Вы не сильны в экономике: Ваши представления о ней остаются на уровне весьма примитивных сталинских догм, усвоенных Вами в тридцатые годы на посту инженера и позднее — в должности секретаря горкома партии Днепродзержинска.

Но и это не исчерпывающее объяснение. Как Вы знаете из засекреченных данных о советской экономике, резкое и устойчивое падение уровня жизни в Советском Союзе, во многом, происходит из-за того, что почти две трети всех советских промышленных предприятий вовлечены в военное производство. Вы и большинство Ваших коллег в руководстве боитесь начинать фундаментальную реорганизацию промышленности, поскольку это негативно скажется на работе военного сектора и приведет к массовым увольнениям. Рост безработицы может привести к общественному недовольству и беспорядкам на улицах. Так произошло в Югославии в пятидесятых. Вам и Вашим коллегам, одержимым идеями «дисциплины» и «порядка», такое даже вообразить страшно. Что все эти безработные будут делать? Куда пойдут? Что если устремятся на Запад в поисках временных заработков, как в случае с Югославией? Но тогда они попадут под влияние западного образа жизни и вернутся вольнодумцами. Того гляди еще и военные секреты с собой прихватят!

Если помните, Румянцев подходил к проблеме с рациональных позиций, предлагая создать Министерство переподготовки кадров и перераспределения труда. Но Вам уже мерещились толпы безработных, готовых чуть ли не свергнуть правительство, и Вы ни о чем не хотели слышать. Потому-то и сегодня Советский Союз остается заложником этой сверхцентрализованной, сверхбюрократической системы, которая предписывает каждому заводу, что и в каком количестве производить. Она обречена на избыток одних товаров и нехватку других, поскольку не в состоянии угнаться за постоянно изменяющимися потребностями всего общества. В такой ситуации даже Юлий Цезарь, славившийся своим умением делать одновременно несколько дел, не сумел бы на Вашем месте справиться с посевной кампанией в одном районе страны. А ведь выполнение священ-

ного плана на каждом его этапе саботируется управленцами, вынужденными добывать материалы по нелегальным каналам, мириться с низким качеством товаров и подделывать статистику ради сохранения своих мест. Кроме того, советская экономика трещит и будет дальше трещать по швам под натиском гигантского черного рынка труда и услуг — этой параллельной, неофициальной, теневой экономики со своими нормами, законами и целой плеядой подпольных советских миллионеров. В полной ли мере Вы сознаете, до какой степени неуправляемой стала эта экономическая махина? В курсе ли, например, что из общего числа заказов, сделанных Государственным комитетом по материально-техническому снабжению, выполняется от силы 15 процентов?

Ну, а моральный ущерб, который наносит обществу непрерывное занижение уровня жизни? Я бы назвал это экономической составляющей «двойного мышления»: с одной стороны, людям твердят о честности, целостности и уважении к социалистической собственности, а с другой — практически толкают на нелегальные заработки, поскольку официальные зарплаты у всех ничтожно малы. В результате в сознании граждан происходит болезненный раскол. Недавно мне довелось беседовать с советскими эмигрантами в Италии; я спросил, что побудило их уехать из СССР. Почти все говорили, что устали постоянно ощущать себя потенциальными преступниками. Чаще других это подчеркивали те, кто был относительно благополучен. Они знали, что на Западе у них может не быть таких же машин и дач, как в России, но зато спать будут спокойно, ибо необходимость обманывать или заниматься подпольным бизнесом отпадет.

«Но в советских магазинах *есть* товары», — возразите Вы. Безусловно: есть одежда, обувь и прочий ширпотреб, но такого низкого качества и до того унылый, что любой из нас предпочтет купить импортную вещь, если сумеет ее достать. Отсюда и знаменитый парадокс: в московских универмагах огромные очереди за туалетной бумагой из ГДР, но при этом на орбиту выводится новый советский спутник. Как Вы знаете, есть даже целая теория о том, что дефицит на производстве и в сфере услуг создается намеренно, чтобы отвлечь народ от более важных политических вопросов. Я в это не верю, но убежден, что реформы, которые приведут к повышению производительности (когда люди будут действительно заинтересованы в выпуске

высококачественных, пользующихся спросом товаров), оставят не у дел местных партийных секретарей и директоров заводов, привыкших повелевать безропотной рабочей силой.

Итак, находясь в экономической зависимости от военного сектора и столкнувшись с естественным сопротивлением полному демонтажу сектора гражданского, Вы делаете ставку на крупномасштабные закупки западной технологии, с помощью которой рассчитываете повысить темпы производства. В сущности это одна из целей Вашего стремления к разрядке. Но некоторые партийные идеологи на самом веру создали из такого детанта даже новую доктрину, — а именно, технократический реваншизм, суть которого можно выразить краткой формулой: компьютеры с Запада плюс возрождение сталинизма.

Увы, и этот план тоже обречен на провал. Советская пресса пестрит репортажами о том, как дорогостоящее зарубежное оборудование лежит без дела и приходит в негодность на различных государственных предприятиях. Почему? Потому что никто особенно не заинтересован в его установке и запуске. А зачем, интересно, советскому инженеру или рабочему овладеть более сложным в управлении иностранным оборудованием, если это никак не отразится на его зарплате? Она как была ничтожной, так и останется. И вот результат: повсеместный развал экономики оказывается Вашей самой большой проблемой, Леонид Ильич.

Теперь два слова о том, чего Вы, скорее всего, про меня не знаете (хотя без труда могли бы узнать, если бы заглянули в архивы КГБ). Однажды меня (в ту пору восемнадцатилетнего) вызвали в КГБ и потребовали, чтобы я дал ложные показания на группу моих товарищей, которых подозревали в наличии «антисоветских» настроений. Услышав отказ, следователи стали меня избивать и сломали несколько позвонков. Я потерял сознание. Наверное, только это и спасло меня от признания несуществующей вины или от необходимости подписывать какой-либо документ. Память об этой истории, равно как и боль в позвоночнике, сопровождающая меня всю жизнь, помогали мне вести борьбу за реформирование советской системы изнутри. Теперь можно сказать открыто: человек, о котором Вам говорили как о помощнике Румянцева в 1965 г., уже тогда был не чужд идей диссидентства. А со временем я превратился

в одного из тех самых «скрытых диссидентов», о которых упоминал выше. Я считал, что добьюсь большего в деле либерализации, находясь внутри высшего управления страной, а не за его пределами.

Поначалу я связывал с Вами большие надежды. Когда в 1968 г. после командировки в Америку мы с Румянцевым предложили наладить обмен с США в области общественно-научных программ, нас приятно поразила Ваша реакция. Представленный нами документ (один из первых периода разрядки) возвратился из Вашего кабинета через три дня без единой поправки. Вы пошли и на то, чтобы расширить полномочия Института США и Канады, равно как и некоторых других подразделений Академии наук, а в конечном итоге согласились и на создание Института социологии. Мы рассчитывали, что там советские социологи наконец обретут возможность не просто собирать факты, но разрабатывать социологическую теорию, поскольку техника и методология, которые Вы готовы были заимствовать на Западе, требовали теоретического переосмысления. Созрела необходимость выпустить монографию с обзором различных направлений в области социологических исследований и экспериментов. Я подготовил ее к печати. Казалось, все идет в правильном направлении. Но затем, желая оградить систему от «негативного» влияния разрядки, Вы принялись «закручивать гайки» внутри страны и шаг за шагом уничтожили все, что мы только начали строить.

Во-вторых, меня насторожило Ваше отношение к национальному вопросу. Что значит быть в Советском Союзе евреем, я знаю не понаслышке: из-за своего «пятого пункта» мне пришлось дважды поступать сначала в Московский Государственный университет, а затем и в аспирантуру. Если бы не моя настойчивость, меня бы и во второй раз не приняли. В Институте социологии проблема возникла в связи с тем, что из десяти человек, работавших у меня в секторе, трое (не считая меня) были евреями. Все трое — талантливые социологи, приглашенные мной за их профессионализм и знания. Но чтобы высокопоставленный еврей в таком институте, как наш, осмелился взять на работу других евреев — это было неслыханно! Ваши «скрытые евреи», вроде Георгия Арбатова (и даже Бориса Пономарева, секретаря ЦК, который женат на еврейке), боясь «разоблачения», избегают брать на работу других евреев (кроме

тех, кто готов во всеуслышание объявить по телевизору или в «Правде», что антисемитизма в СССР не существует).

Но в том-то и дело, что, возродив сталинизм, Вы вернули к жизни и все сталинские ограничения на участие евреев в профессиональной, научной и политической жизни. Возможно, это один из основных побудительных мотивов, толкающих в последние годы все большее число евреев на эмиграцию. Повторюсь: я знаю, что Вы не антисемит, но многие Ваши коллеги — безусловно. До такой степени, что готовы записать в евреи всякого, кто придерживается либеральных взглядов. За одной из экспертных групп в Центральном Комитете твердо укрепилось прозвище «жидовские морды», хотя в составе ее нет ни одного еврея. И вот чиновники из ЦК, курировавшие работу нашего института, обвинили меня в «неправильном подборе кадров». Я хотел бы знать, Леонид Ильич, каким должен быть кадровый состав, если сорок процентов евреев — это уже слишком много? Тридцать процентов? Двадцать? Ноль?

Неосталинизмом на меня пахнуло и раньше, во время кадровой чистки в Институте мировой истории. Там, как Вы, быть может, слышали, под удар Отдела науки ЦК попала группа талантливых ученых во главе с Михаилом Гефтером. Они «провинились» в том, что выступили против реабилитации Сталина. Помимо этого их заподозрили в симпатиях к еврокоммунизму. Известно ли Вам, что в 1967 г. не кто иной, как Андропов — глава КГБ, — позвонил Румянцеву и попросил вступить за историков? На протяжении трех лет мы с Румянцевым отстаивали их, как могли. Нашли доказательства, подтверждавшие, что все выдвинутые против них обвинения базируются на сфабрикованных документах. Но в итоге неосталинисты одержали победу: историков обвинили в подрыве партийной морали и разогнали. Да и чему удивляться, если главным противником всего нового в области общественных наук был и остается глава Отдела науки ЦК Сергей Трапезников, Ваш бывший помощник и близкий друг.

Позднее, в 1971–1973 гг., наступление пошло широким фронтом, и под удар попали все лучшие социологи нашего института. В ЦК нас обвинили в распространении «буржуазной идеологии». Вы поддержали решение о снятии Румянцева с поста вице-президента Академии наук. После этого ему ничего не оставалось, как самому уйти с должности директора Инсти-

тута социологии. На его место пришел Михаил Руткевич — человек, заморозивший советскую социологию на много лет, но зато прославившийся своим умением не пропускать мимо ни одной юбки (интересно, что юбки он не делил на «пролетарские» и «буржуазные»). Другой, еще более ярый противник разрядки — глава московских партидеологов В. Ягодкин, заклеил меня буржуазным апологетом и добился запрещения моей книги. Его прихвостни велели институту отправить весь тираж на макулатуру. Рабочие решили не утруждать себя доставкой и сожгли книги прямо в институтском дворе. К счастью, я этого не видел. Остался в то утро дома. Но друзья рассказали.

Румянцев, уже давно отстраненный от руководства «Правдой», а теперь потерявший и Институт социологии, понимал, что попал в немилость. Но тяжелее всего ему было смириться с тем, что Вы отказались его принять. Еще до того, как в 1976 г. он не был переизбран в ЦК, я решил эмигрировать. Изучение так называемой буржуазной теории, которому я посвятил последние двадцать пять лет, уже давно сделали меня «западником» по духу. Я благодарен Вам за то, что правительство не препятствовало моему отъезду.

Не так существенно, что в результате проводимой Вами политики я оказался эмигрантом. Куда важнее для России Ваше собственное пошатнувшееся положение. Но процесс, который привел Вас к нему, начался не вчера; ошибка была заложена уже в Вашей изначальной концепции разрядки.

Надеюсь, Вы не станете возражать, что идея вывести сотрудничество с Западом за пределы соглашений, достигнутых между Хрущевым и Эйзенхауэром, принадлежит не Вам, а сотрудникам Академии наук и международного отдела ЦК, стремившимся к улучшению отношений с США для усиления советских позиций перед лицом китайской угрозы. Вы приняли ее, рассчитывая получить экономическую помощь и зарубежные технологии, главным образом, от Соединенных Штатов. Вы согласились пойти на приостановку гонки вооружений (хотя благодаря ей обеспечивалась трудовая занятость населения), понимая, что она наносит серьезный вред советской экономике и повышает угрозу ядерной войны. Но у Вас также были все основания опасаться разрядки: опыт Чехословакии 1968 г. наглядно продемонстрировал возможные последствия влияния

западных идей на коммунистическую систему. Прежде чем начинать разрядку, Вы хотели оградить Россию и дружественные ей страны от этого пагубного влияния.

Я не сбрасываю со счетов гуманистическую составляющую Вашего решения. Как сказал Андрей Сахаров, ядерная угроза заставляет человечество сплотиться, и то, что разрядкой Вы, по крайней мере, сдвинули Советский Союз с мертвой точки в переговорах по вопросам о ядерном вооружении, — Ваша безусловная заслуга. Но Вы ошиблись, полагая, что сможете достичь соглашения с Америкой по ограничению гонки вооружений и поставкам важного технологического оборудования, продолжая завинчивать гайки внутри страны.

Эта двойственная политика привела к довольно странному результату. На советские промышленные предприятия стали силой насаждаться американские принципы управления, невзирая на отсутствие одной немаловажной детали, благодаря которой, собственно, все эти принципы и работали: свободного рынка. Нынешнее советское «американофильство» — это попытка нанести западный глянец на стоптанный и дырявый советский сапог.

Беда в том, что Вы никогда не понимали американцев. Здесь есть немало деловых людей, которые отнюдь не прочь заработать на коммерческих сделках с Советским Союзом. Но одна лишь перспектива прибылей никогда не заставит эту страну вступить в крупномасштабное, долгосрочное, полноценное экономическое сотрудничество с СССР, которое Вам так необходимо. Это общество склонно действовать, исходя из моральных принципов, достигнутых на основе широкого согласия (каким бы ханжеством это ни казалось иностранцам, вроде Вас, и сколько бы сами американцы ни признавали свою неспособность следовать идеалам в каждом конкретном случае). Совершенно очевидно, что американцы не собирались идти на экономические и технологические уступки, которых Вы от них добивались, покуда видели в Вашей внутренней политике продолжение тоталитарного, беспринципного, непонятного им режима, который они привыкли считать своим смертельным врагом.

Теперь Ваши надежды на получение нормальных товарных кредитов от Вашингтона рухнули, разбившись о возмущение значительного числа американцев, которые увидели Вашу реакцию на действия советских людей, пытавшихся преодолеть

сталинистские ограничения на выезд из СССР. Не будь это поправка Джексона-Вэника и Стивенсона, была бы какая-нибудь другая. Ваше нежелание ослабить железную хватку системы — и даже больше того, стремление «закрутить гайки», или, по Вашему выражению, «сохранить верность принципам марксизма-ленинизма» — убедили американцев, что Россия так и не встала на путь долгожданных политических и экономических реформ, а продолжает жить по своим законам, и лучше держаться от нее подальше.

Но оставим в стороне и психологический эффект, неизбежный в случаях, когда писателей, ученых и всех, кто выступает за соблюдение элементарных прав человека, арестовывают и сажают в тюрьмы или психиатрические больницы. Какой же сигнал Вы подаете Западу, отказываясь от экономических реформ, начатых Хрущевым, ради сохранения незыблемости гигантского военного сектора? Зачем американцам помогать нам (я сейчас говорю о населении в целом, а не о горстке сверхрискующих предпринимателей), если при существующей системе их помощь в основном пойдет на усиление советской военной мощи? Где гарантия, что Вы не употребите эту мощь против них, если в СССР нет никаких демократических механизмов контроля над властью, и все решения принимаются тайно и авторитарно? У американских банкиров есть одно непреложное правило: прежде чем дать в долг, у клиента интересуются, на что он собирается потратить деньги.

В силу перечисленных обстоятельств специалисты, формирующие общественное мнение в Америке, утратили доверие к Вашему режиму. Теперь Вы рискуете потерять его и дома. Вы пообещали министру обороны Андрею Гречко и его преемнику Дмитрию Устинову расширение кредитов и технологических ресурсов, одновременно заверив руководителей гражданских предприятий, что и они не останутся внакладе, но Вам нечем отвечать за свои слова. Торговля с Западом свернулась, едва начавшись. Тем временем, сторонники жестких мер, выведенные Вами из Политбюро, и консерваторы, остающиеся у власти, убеждены, что Вы нанесли стране вред, согласившись на уступки, без которых разрядка была невозможна: меньше глушатся западные радиостанции, расширяется культурный обмен, в Россию просачивается опубликованная за рубежом диссидентская литература, частично сняты запреты на эмигра-

цию, стало больше американских туристов, больше неконформистских идей.

Ваши попытки остановить все эти процессы вызовут еще большее недоверие на Западе и укрепят позиции тех, кто выступает за качественное превосходство США над Россией в области ядерного вооружения. Учитывая, что технологически Америка значительно опережает Россию, последствия этого предсказать нетрудно. Ваши критики (как консервативно, так и либерально настроенные) сочтут, что Ваша политика не только не способствовала экономическому росту, не только не остановила гонки вооружений, но привела к военному ослаблению страны и, следовательно, к политической зависимости от Соединенных Штатов.

Вам, вероятно, жаль, что Форд проиграл на американских выборах — Вы ведь считали его честным, искренним, но не очень дальновидным политиком, с которым обо всем можно договориться. Вы так и не поняли, что проблема не в Джеральде Форде. Картер как раз и попытался Вам объяснить, что единственным условием долгосрочной, эффективной, реальной разрядки может быть либерализация советской системы.

Слышу, как Вы восклицаете: «Зачем Вы забываете мне голову американцами и либерализацией, когда сами прекрасно знаете, что главная проблема — Китай?» Ваш страх перед Китаем — отражение национальной фобии, уходящей своими корнями в 200 лет монголо-татарского ига. Вы и Ваши коллеги опасаетесь, что если либерализация приведет к внутренней нестабильности и беспорядкам, то этим воспользуются 800 миллионов китайцев. Они немедленно начнут занимать сибирские земли, которые считают своими.

Не правда ли, странно: всего через шестьдесят лет после российской революции лидеры Советского Союза уже не в состоянии понять особенность революции у соседей. Почему Вы так упорно не желаете верить, что китайцы обзавелись ядерным оружием, опасаясь превентивного удара со стороны СССР или США (и как раз в тот момент, когда идея такого удара всерьез обсуждалась и в Москве, и в Вашингтоне)? Вы боитесь, что если сократите слишком много стратегических ядерных вооружений по договору с Америкой, то Китай догонит Вас уже через десять—пятнадцать лет. Очевидно, что сдержать развитие китайского ядерного арсенала можно только в рамках такого

советско-американского соглашения по ядерным вооружениям, которое устраивало бы и Китай, и Францию, и Индию, и другие без пяти минут ядерные державы. Со временем на основе этого соглашения можно было бы выработать глобальное политическое решение по ядерному вопросу.

Таким образом, Китай, Леонид Ильич, не может служить препятствием для советских реформ. Путь к обновлению (и возрождению) советского общества (и на этой основе – к реальной разрядке с Америкой и договору ОСВ-3) Вам преграждает Ваш собственный «китайский синдром».

Хватит ли Вам мудрости и решимости, чтобы его преодолеть? Раньше мне казалось, что да. Теперь, честно говоря, сомневаюсь. Но если Вы не направите политику разрядки по единственно возможному руслу, она обречена на провал. Я знаю, Вам кажется, что она уже провалилась. Думаю, Вы понимаете, что ее конец означает и Вашу отставку. Что же произойдет тогда?

В советском руководстве Вы представляете интересы умеренных – тех, кто находится между либералами, вроде Громыко и Щербицкого, и неосталинистами, вроде Суслова и Устинова. Если у руля окажутся либералы, они начнут проводить отдельные ограниченные реформы, но мало что успеют по старости. Если же победят неосталинисты, то про реформы можно будет забыть, отношения между СССР и США испортятся окончательно, Россия вновь окажется в изоляции, и даже то небольшое, что удалось добиться умеренным, вроде Вас, пойдет прахом. В любом случае (даже если Вам удастся остаться у власти) зловещий раскол между двумя лагерями (официальным курсом и открытой или скрытой оппозицией) будет увеличиваться и дальше. Однако уже сегодня при виде постепенного легального перерождения системы в России нарастает отчаяние. В народе все отчетливее проявляется давняя российская тяга к анархии, насилию и террору. Неужели моей стране предстоит выстрадать еще одну революцию!?

Я знаю, что Вы не раз касались вопроса о своей отставке. Однажды даже вызывали к себе члена Политбюро Арвида Пельше и интересовались, не стоит ли Вам уйти, учитывая распространяемые слухи о Ваших недомоганиях. Я уже отмечал, какую неоценимую услугу Вы оказали России и миру хотя бы тем, что направили советскую политику по мирному пути. Если

Вы в состоянии продолжать двигаться в этом направлении, дай Вам Бог силы. Если же не чувствуете в себе сил противостоять тем, кто стремится отбросить Россию назад, то единственное, что Вам осталось сделать для своих сограждан — это уйти, назначив на свое место достойного преемника из числа более молодых лидеров. Он доведет до конца то, что не удалось Вам.

Не тяните время, Леонид Ильич. Промедление лишь увеличивает потенциальную опасность беды для России и мира. Создайте прецедент упорядоченной передачи власти в Советском Союзе. Ленин и Сталин оставались правителями вплоть до своей смерти. Хрущев был отстранен. Неужели не существует никакого другого пути для создания демократического механизма преемственности власти в гражданской жизни такого великого, талантливого, идеалистически настроенного народа? Ваш добровольный уход окажет громадное воздействие на общество, улучшит политические и моральные качества советской системы. Вы могли бы остаться на посту почетного председателя партии, что позволит Вам использовать Ваш возросший (в чем я не сомневаюсь) авторитет патриота и лидера и даст в руки куда более реальную власть, чем культ личности, заимствованный у тирана, перед которым и сегодня многие продолжают трепетать.

Позвольте мне на правах бывшего советского политического консультанта дать Вам этот последний совет. Я уверен, что, последовав ему, Вы предотвратите очередную изоляцию России от цивилизованного сообщества, ее сползание в реакционное мракобесие. И сохраните уважение тех, кто видел и продолжает видеть Ваши лучшие качества. К числу таких людей я, безусловно, отношу и себя.

Искренне желающий Вам добра
Борис Раббот⁷

⁷ Эта статья была сразу же перепечатана во множестве зарубежных газет и журналов.